



и рубаха, быстро оделся и, накинув телогрейку, притащил беремья дров. И скоро от запаленной бересты пламя метнулось по сухим поленьям, весело взыграло, и, когда огонь в печке радостно запел, Ваня похвалил хорошие дрова, березовые, лиственничные, добытые прошлой зимой в хребте, что выгнбался к небу за околицей.

Дрова... Узрелось с высоты орлиного полета царство русское: звонкий утренний мороз, посреди синеватых снегов чернеет деревенька, народ торопливо волочит дрова в жилища, топят печи, и дым над крышами задорно вьется на ветру либо висит хвостом в безветрии.

...Дрова дерзко и властно вошли в жизнь Ивана Краснобаева лет с шести, когда отец лесничил и семья жила в вершине забайкальской реки Уды, у изножья затажного хребта. Ранней весной снежный наст оседал, и отец с матерью пилили дрова на грядущую зиму либо чистили лесные деляны, откуда сельские мужики на лесовозах вывезли строевой лес, а вершинник бросили леснику. Ваня подсоблял родителям собирать сучья в копны, а потом, когда отец поджигал их, зачарованно глядел, как пламя, словно огненные кони, скачет по сухому хворосту, яро возносясь в небеса.

Подросши, Ваня пилил с отцом лиственничные кряжи, с надсадой заваленные на козлы; но то дома, с отцом, а бывало, и в школе гоняли на заготовку дров, коими отапливались две школы: их двухэтажка и одноэтажка для малышей.

Войдя в изрядные лета, Иван летовал, зимовал и в городе, и на лесных дачах, лестно прозванных заимками, где в хребтах заготовливал дрова, выискивая березы, лиственницы — сухостойные либо те, что на ладан дышат, готовые со дня на день пасть во мхи и багульники. «Летую, зиму на лесных заимках», — ради красного словца речено, хотя две дачи все же — в лесу, и большая часть житья-бытья прошла на дачах.

Мог Иван и прикупить дров — гроши водились, — да и, случалось, брал на зиму, а на заимках не столь сухостой валил, сколь бродил ради доброго здравия души и плоти, ради блаженной красоты зимнего леса. Но хотя и не числился штатным лесорубом, а худо-бедно за полвека в дровах толк познал и, будучи смолоду ворчливым, мог и в преисподней проворчать: «Шибко, паря, дрова сырые, худо горят, шипят...»

Намедни листал Иван роскошный альбом Нестерова и с умилением узрел цветные репродукции с картин, где преподобный Сергей Радонежский, вроде мужика деревенского, в паре с послушником пилит кряж, топором кантует будущий венец кельи, а может, храма, и носит дрова к монашеским кельям... Вот ведь, светоч земли русской, вровень святым апостолам, а тоже дрова пилил, подобно мужикам сермяжным; и обуяла Ивана гордость за дровосеков, в чей стан и прибился в таежном малолетстве.

В заготовку дров дивом дивным вплетались потешные и поучительные истории с характерами, судьбами; истории же те Иван стихийно сказывал в дружеских и семейных застольях, растекаясь мыслью по древу, не печалась о стройности сказа.

## Отец и дрова

Отзвенели грозные николевские, рождественские и крещенские морозы, стихли ворчливые афанасьевские, явился февраль — лютой, снежень, бокогрей, — и мужики, перекрестившись Царю Небесному, поклонившись Царице Небесной, святым угодничкам, взгляделись в небеса, в синеючий за поскотиной лес: не пора ли дровосек зачинать?.. Судилирядили: мол, боишься холоду — полюбишь тайгу смолоду; а лежебокам сулили: в тайгу не поедешь — на печи околеешь.

Но... переменчив февраль (недаром ветреных мужиков в деревне звали февральями): то оттеплит с капелями, то заметелит с буранами. На Сретение Господне встретилась зима с весной, обнялись троекратно, и повеяла с лазурного неба оттепель, повисли с драневых крыш ледяные титьки, забренчали капли. Но спохватилась зима и дохнула сретенскими морозами. Охота остаревшей зиме заморозить весну молодую, но сама, лиходейка, от хотения лишь потеет. А приспел и святой Власий: ночами звенят власьевские морозы, вершащие зимушку, но у Власия и борода в масле, польет Власий маслица на дороги — и повлажневший санный путь напомнит о близкой весне, о дровосеке. Коли милостью Божией с небес слетала зима ласковая — вдовья, сиротская — да Власий лихо сшиб рог с зимы, то мужики, не выглядывая марта, трогались на дровосек, но чаще годили до Василия-дроворуба.

Ждали лесорубы март-зимобор, когда вешнее солнышко поцелует воскресшую землю; но, опять же, и март куролесит — ишь, ухарь-купец, удалой молодец! — верно же говорено: марток — надевай двое порток, ибо тепло обманчиво, словно грешная душа, могут и морозы ударить похлеще крещенских. Ну, словом, на Василия-дроворуба мужики — в тайге, дабы лес сечь, не жалея плеч, запастись дровами на грядущую зиму. И потеют дроворубы до Алексея Божьего, на деревенский лад славленного: Алексей — зажги снега, заиграй овражки.

Помнится, в начале марта-зимобора тайга оживала и на солнечных проплешинах уже синели, желтели подснежники, в густолесье же белели сугробы; и о ту пору забайкальский лесник Петр Краснобаев пилил дрова с богоданной, а рядом под мерное пение пилы-двуручки дремал сивый мерин, запряженный в сани. Свалив сухостойный листвяк, мужик с бабой кряжевали лесину, кряжи укладывали в сани, а подсоблял дровосекам шестилетний сын: таскал сучья в копну; и отец, ободряя трудовой азарт малого, важно повелевал:

— Убирай, Ваня, чище — царь поедет! Поглядит, похвалит да, глядишь, и гостинец поднесет. Пряник печатный!..

Ох, мамочки родны, сам царь поедет через дабан\*, где лесничья изба!.. А вдруг пряничком угостит, а печатный пряничек — не шаньга творожная... Услышав про царя-батюшку да про печатный пряник, бегал Ваня мурашом по дяляне, волочил сучья до кучи; запинаясь о замшелые

\* Дабан — хребет, гора, пологий горный перевал.

валежины, падал, вздымался, воображая, как на пятерике белых коней катит царь в золотой карете, с золотой короной на русых кудрях... О царе поминал отец не случайно: готовили дрова подле Старомосковского тракта, по коему цесаревич Николай изволил ехать, следуя из Читы в Верхнеудинск. Но... давно уж дорогу спрямили, и брошенный царский тракт, поклонно величаемый Старомосковским, заглох в сырой глуши березняка и осинника; истлели мосты, а топкие калтусы\*, словно прожорливые чудовища, заглотили бревенчатые гати.

Раскряжевав листвяк, уложив кряжи в сани, отец наломал сухих сучьев, запалил тихий костерок, потом смастерил таган — на березовые рогатки уложил жердочку с закопченным котелком — и, вскипятив снег, запарил чай с брусничным листом. Мать на толстый пень постелила холщовое рядно, выложила каравай ржаного хлеба, яиц, вяленой сохатины и даже по кусочку колотого сахара. Отец порушил каравай крупными ломтями и напластал сохачьего мяса, потом приволок пару валежин под седалища, и семейство село чаевать. Хотя изба под боком, но охота в тайге почаевать, растопив снежок в котелке.

С поздней осени, когда снежок застелил землю и тонкий наст закреп, до поздней весны, когда снег набух влагой и осел, Ваня, впрягаясь в легонькие нарты, возил из леса сухие сучья — отец берег дрова. Мать, глядя на сына, запряженного в нарты, с улыбкой поминала стих о том, как мужичок с ноготок вел под уздцы лошадку, везущую хвороста воз. Прозлым годом привезли на зимние каникулы Татьяну, Ванюшину сестру, что бегала в школу вторую зиму, и та, придвинув керосиновую лампу ближе к хрестоматии, шаря сонными глазами по строчкам, учила наизусть стих о махоньком дровосеке; и так нудно и долго зубрила, что Ваня быстрее выучил и подсказывал, ежели сестра запиналась.

Года через два семья уючевала в село — ребятишек пора учить; и однажды Ваня подслушал с печи, как отец, звонко плеская в граненые стаканы «сучок»\*\*, заливал байки мужикам:

— На кордоне-то, паря, bravo жили, по косачам\*\*\* ходили: тьма была, сидят, как вороны, на деревьях, хоть за хвост их имай, оне сытые, лететь не могут. Кучно сидели... В осенину окно откроешь, и с окна стреляшь, вот те и уха из петуха... А на солносяд окошко отворишь, удочку настропалишь и — в речку, вот те и ленки на варю и жарю...

— В вершине Уды и охота ладная, — сказал мужик и добавил с лукавой улыбкой: — Помню, батя говаривал... Нас было три брата: Егор, Василий и Степан. Вот мы поехали на охоту, недалёко. Теперь едем, глядим — козы! Много их. Егор стрелил: бух! — сразу двух! Василий стрелил: грох! — сразу трех. Вот мы их набили...

Отец, улыбнувшись небылице, опять хвалил таежный кордон:

\* Калтус — топь, болото, поросшее кустарником, березняком.

\*\* «Сучок» — дешевая водка низкого качества из древесного спирта, из опилок; а мужики говорили: из дров. Выпускалась наряду с высококачественной «хлебной» водкой лет десять. В конце 1950-х ее запретили.

\*\*\* Косачи — тетерева.

— И с дровами, паря, сподручно: шаг шагнул — тайга, сухостою тьма; а на баню — листвяжьби пни, гаркие, жаркие...

Мужик — до отца лесничал на Удинском кордоне — согласно кивал головой, цокал языком:

— Да, Петро, на реке Уде дрова бравые — листвяк...

— Дак, Прокопий, у нас в Еравне кругом охальной листвяк, — отец уточнял: дескать, в Еравнинском районе, что на северо-востоке Забайкалья, — сплошь лиственничная тайга.

— А помню — я ишо под стол пешком ходил, — отец помер, и мы с мамкой уочевали к дяде. От мамка чо намаялась с дровами-то, а не приведи бог! Вокруг деревни — сплошной сосняк. Не дрова — пыль. Мама вздыхала: «Не дай бог мужика пьяницу и худые дрова...» А потом, паря, уочевали в другое село — красота: сразу за поскотиной — березняк...

Мать, гоношась у печки, подавая мужикам жареных карасей, улыбалась отцовым байкам, качала головой в диве и тоже поминала лесной кордон:

— Осенью кухта\* падат, дак тайга вся в золоте. Кулями таскали кухту листвянишну... На Покров выскоблишь пол косарём самокованным, промоешь на две-три воды, постелешь кухту — браво, лиственью пахнет, лесом... Благодать Божия...

Лежа на печи, чуял Ваня: материн говор пахнет смолистым, таежным духом, и сквозь слезный туман видел лесничью избу... На Рождественский сочельник отец украшал избу чушачьим багульником, лапником из пихты, ели, можжевельника; лапник укрывал неокантованные круглые венцы, и лесничья изба обращалась в глухоманную тайгу. А богомольная мать застилала пол клеверным сеном, вспоминая: Отроче Младо на сене родился в яслях, подле коз и коров; и таежная изба уподоблялась сеновалу. А на Святую Троицу хороводились в избе кумушки-березки — не изба, а роцца, и пол, устанный свежескошенной травой, — пойменный луг подле березовой гривы.

Крытая сосновым драньем\*\* четырехскатная дородная изба таилась у отрогов Яблонова хребта, лицевыми окнами глядела на пойменный луг и речку Уду, а слева от усадьбы, огороженной бревенчатым заплотом, — широкий таежный распадок, где мать с отцом пилили дрова.

Отец Вани, Петр Краснобаев, хотя и слыл мастеровитым, азартно любил труд, а вольно ли, невольно сменил уйму деревенских ремесел — увольняли: подвержен зеленому змию и худой во хмелю; но выпало домочадцам доброе времечко, когда отец лесничал на кордоне и редко выпивал, — мать, боясь сглазить, не радовалась вслух, лишь плакала исподтишка и ночами молилась святому Вонифатию — от пьянства исцеляет.

\* Кухта — лиственничная хвоя.

\*\* Дранье — доски не пиленые, а колотые из сосновых кражей.

Отец отлесничил и вернулся в село, где уже чаще заглядывал в рюмку, гадая: «чо там, паря, налито?» — а потом с гулкого похмелья заживо сдыхал. Летом спасался от похмельной кручины и головной ломоты тем, что, насадив на черень кучерявую ерниковую метлу, мёл ограду, мёл за воротами, мёл вдоль палисадника — и мог бы вымести, вылизать всю улицу, все бывшее волостное село, лишь бы заглушить и развеять похмельные страдания, когда уже лечиться тем, чем зашибся, нету мочи: пропита моченька, седмицу гулял без просыху.

А зимой отец спасался дровами: взваливал на кóзлы лиственничный кряж, выносил из амбара пилу с ладно разведенными, острыми зубьями и на пару с Ваней, уже отроком, пилил дрова, нет-нет да и ветошью, смоченной в солярке, натирая дочерна засмоленную пилу. Из мелкого запила, потом глубокого реза брызгали на снег хмельно пахнущие, желтые и бурые опилки...

Ване тягостно пилить, а отец, случалось, заваливал на кóзлы каменный листвяк: парнишка нервничал, заполошно дергал пилу, тянул вроде из последней моченьки, забывая отпустить, и отец то выбранит, то утешит:

— Ты, паря, крепше за ручку держись, чтоб не вырвалась, — пила же сама пилит... Не дави, не дергай с пылу да жару. Тихонько тяни и отпусти, да не загибай, не загибай, пили ровненько... Ты же мужик...

Мужик, мужичок с ноготок, приноравливался к отцово́й тяге и, чтобы не затамиться, увеселиться, подтягивал голосистой пиле: «Вжик-вжик, я — мужик; вжик-вжик, я — мужик...»; и даже выводил куплеты чуднее: «Пили-ели свиристели», а пила подтягивала: «Пили-ели свиристели...»

А вешним рассветом, поигрывая колуном, высматривая трещины в торцах, отец колол чурки, примороженные утренником, еще не разбухшие на щедром мартовском солнце. Колол с хаканьем, с отрадой и усладой и, наметав стог поленьев, городил поленницу, выводя игривую, красивую клетку, принохиваясь к свежим полешкам, — спиртом пахнут, водкой «сучком».

Ныне Иван, матерый мужик, видел сквозь хмельную полувековую мглу: отец, по теплу в сыромятных ичигах, смазанных дегтем, в черных галифе и рыжем свитере, отложив топор, присаживался на измочаленную лиственничную чурку, похожую на бочонок, доставал кисет и, насыпав моршанской махры в линялую газетную осьмушку, закрутив в самокрутку, закуривал. По-хозяйски оглядывал растущую поленницу дров, и светлели отцовы глаза, досель темные, мутные; и Ваня, дурачок же, невольно верил учительнице, что труд обратил обезьяну в человека; потом смеха ради воображал, как вертлявая мартышка пилит и колет дрова, постепенно обращаясь в человека. Отец, если дрова кололись легко и ловко, добрел и, случалось, на перекуре толковал сыну:

— В твои лета, паря, я уж в лес ездил по дрова... С браткой, двумя годами постарше, запряжем коня и — в лес. Помню, свалили пару листвяков, раскряжевали, завалили в сани. А, помню, примораживало, а коль мороз, дак сорок пудов на воз — снежный наст же крепкий, дорога легкая, можно и побольше нагрузить в сани. Ну, тронулись с Богом... И, помню, растяпы, топор посеяли в дороге. Беда... Тятя не облаял, но велел: «Ну, паря, чаю хлебните с мороза да и валите в лес, ищите топор. Коня не дам, конь устал, пешком дуйте. Без топора не возвращайтесь — топор кормит, поит, одевает, обувает и обороняет...»

Легко сказать, дуйте за топором, а у нас моченьки нету — вымотались в тайге, но тятя поперек слова не скажи, вожжами отпотчует. Потопали, а уж сумерки, в степи боимся сбиться с пути, и хорошо с Прокопа\* на случай пурги натыкали вежи по обочинам — молоденькие елки. Топам, тятю корим, клянем: коня пожалел, а нас не жалко... — Отец вновь напомнил, пытливо и назидательно вглядываясь в сына: — Летами я такой же был, а братка двумя годами боле... Но теперичи волочимся, а уж смеркатца, и — есть же Боженька на свете! — встречу Гриня Байбородин, родней доводился, но так, вроде седьма вода на киселе... Дядя Гриня тоже дрова везет; полны сани, паря, нагрузил, а сам подле бредет... Кобыла аж вся заиндевела, куржаком заросла...

«Куда, — говорит, — на ночь глядя лыжи наострили?»

Ну мы и обсказали, чо да как, а сами уж ревя ревом — парнишки же...

«От, паря, беда-бедушка... — вздохнул дядя Гриня. — Худо ваше дело, робяты, хуже некуда. Впотьмах топор искать что иголку в стогу. Может, от дороги в снег улетел, мало ли чо... Вы уж, паря, кругом глядите, глаза у вас вострые... А тятка-то ваш ши-ибко сердитый, за топор три шкуры сдерет... Но чо, топайте; может, глядишь, и месяц взойдет, дак светле будет...»

И уж тронулись мы с браткой, а дядя Гриня вслед:

«Постойте, — говорит, — ноне волки рыскают, дак вы хошь дрын подберите обороняться-то...»

Мы со страха аж заледенели, а дядя Гриня топор и достает из саней.

«Не ваш ли, робяты? Чудом увидел: спешился отлить, гляжу, топор на дороге валяется...»

От, паря, мы ревом ревом, а он шутки шутит! Шутник, язви его в душу...

«Но, паря, тятка-то ваш ши-и-ибко сердитый: почо же ребятишек-то гнать в лес за топором?! Коня бы заседлал да верхом проехал, глянул...»

Да, сердитый был тятя... Да и поневоле будешь сердитый, коли нас, ребятешек, восемнадцать. Ежели эдаку ораву не держать в ежовых рукавицах, тогда кто в лес, кто по дрова. Другорядь и обмануть норовили,

\* Прокопьев день отмечается 5 декабря (по старому стилю — 22 ноября). В православном календаре это дата почитания мученика Прокопия Кесарийского (Палестинского), теща.



а ныне бы тятэ в ноги пали... Не привадишься робить и беречь нажитое, помирушкой-побирушкой, бестолочью по миру пойдешь...

Ваня почуял, последнее сказано ему и в укор, поскольку и от домашней работы отлынивал — с ребятами любил побегать, на конечках покататься по ледяному озеру, — и добро, отцом нажитое, сроду не берег: сколь Маркен, соседский дружок, выманил рыбацких крючков, лески, щучьих блесен, изготовленных отцом из столовых ложек.

Вспоминая, отец выкурил самокрутку до корня, когда говорят: «Кури дружок, я губы обжег», и, поплевав, загасил. Надел брезентовые верхонки, ухватил колун и отмашисто саданул по чурке; а мать, пробегая по ограде, вдруг замерла... Настрадавшись от недельной пьянки-гулянки, умиленно глядела на трезвого и домовитого мужика, но потом взгляд заволокло слезами, словно стывшим, морозящим дождем, и мать безголово заплакала. Горькая и сырая бабья доля: и в горе воеет, и в радости слезьми уливается. Хвалила мать богоданного, глядя, как нарядная, золотистая поленница выросла по бревенчатый заплот, гадая о житье-бытье просто: слава Те, Господи, сена корове накосили — с молоком перезимуем; картошку в подпол ссыпали, бочонок капусты наквасили, лагушок рыбы насолили, дров напилили, муки, соли, сахара запасем, так и по миру не пойдём, с голоду не пропадем... даже если папаша загуляет. Загуля-а-ает — смолу обвык.

Когда Ваня, не пригибаясь, под столом пешком ходил, четыре брата довоенного приплода, отслужив службу ратную, отчалили из села; но три сестры да Ваня еще росли в старенькой избе, а посему мужичья работа потихоньку-полегоньку с отцовых плеч кочевала на Ванины плечи. Воду с озера вози — летом бак на тачке, зимой на санках; а потом стайки чисти, корову ищи в поле, рыбу лови, дрова пили, коли; а ведь охота с дружками в прятки поиграть, в лапту и выжигало, в чижа и городки; охота, с горем пополам поделившись на белых и красных — все нагло лезли в красное воинство, — прикрываясь щитами из печных заслонок, биться на мечях и саблях, кои ребягня ловко мастерила из ржавых обручей, некогда крепивших капустные бочки; охота и в озере купаться, а по зиме на самодельных коньках кататься, прикручивая их кожаными лентами к подшитым катанкам.

Охота играть подростку, но мать ребячью охоту сурово окорачивала; и, помнится, в очередную зиму распилили отец с Ваней листовенничные кряжи на чурки, а ночью у отца хворую спину прихватило, разогнуться не мог. Видно, насадил поясницу, коряча толстые кряжи на козлы... Трехлетним Ваня, бывало, топтал отцу спину — и отпускало, а нынче некому топтать; вот скрюченного и увезли отца в сельскую больницу, а потом и вовсе в город утартали. После сего мать и велела сыну:

— Хва по деревне шлындать, придуривать, коровьи шевяки пинать. Раз отец хворат, дак иди и коли дрова, а то чо же, неделю чурки посередь ограды...



## Школьная любовь и дрова

Отбегав пять зим в школу, деревенские ребяташки не столь учились, сколь трудились: копали картошку, моркошку, турнепс, убирали капусту, гребли скошенную траву в копны, рубили жерди для поскотиной городьбы, стригли овец, выгребали наём из овечьих кошар, да и любая сельская страда не обходилась без школьной подмоги. И то ребятам не в тягость, а в радость — смалу приважены к труду, да, бывало, передых, парни потешные байки травят, девки, сбиваясь на смех, радостно поют. Ну да сельских девок хлебом не корми, дай посмеяться — простодушные; и слава богу, ибо старики говаривали: где просто, там ангелов дó ста.

Посреди весны, когда солнышко слизало снег на степных увалах, а в тенистой лесной чащобе еще белели сугробы, старшекласники пилили дрова на зиму, ибо прожорливыми печами спасались от стужи две школы: большая, рубленая из матерого леса, в два этажа, и малая, барачная, прозванная «курятником». Василий Шукшин, бывший директор сельской школы, горько поминая школьные хлопоты, поведал и о дровах: «...Что такое директор школы? Дрова достань, напили, наколи, сложи, чтобы детишки не замерзли зимой...»

В эдаких заботах жила и сельская школа, где учился Ваня Краснобаев. Помнится, в марте Серафима Ивановна, молоденькая литераторша, она же и классная, похожая на смуглую птицу, оповестницу весны, сообщила десятиклассникам:

— Уроки отменяются, едем в лес дрова пилить.

И парни, кои больше любили трудиться, чем учиться, лихо взревели «ур-ра-а», швыряли книги к потолку, а тетка-поломойка, задумчиво опершись на швабру, вздыхала, вроде жалея горемычную тайгу:

— Ну держись, тайга, архаровцы нагрнут...

\*\*\*

Серафима Ивановна, прозванная Симой, залетела в Сосново-Озёрское прямо с институтской парты, и свалился на ее бедовую головушку девятый класс, где уже застарело укоренилась неприязнь к литературе. Первого сентября, когда над селом празднично синели небеса, когда березы в школьном саду загрустили в предчувствии осенней мороси, а озеро утомленно вздыхало, подле школы-двухэтажки выстроилась торжественная линейка. Для завтрашних выпускников голосил школьный хор, и звонко, садня душу слезой и тоской, вились над школьным двором отроческие голоса:

День настанет, простимся со школой,  
Выпускной окончится год.  
И отсюда тропинкой веселой  
Навсегда наше детство уйдет...

Тропинка первая моя,  
Веди от школьного порога,  
Пройди все земли и моря  
И стань счастливою дорогой!\*

Хотя и простенькие куплеты, проще некуда, но столь пронзительны музыка и пение, что у заскоружлых парней душа жалобно заныла; а уж слезливые десятиклассницы, вдруг осознав, что прощаются с детством и больше не свидятся, хором заплакали. После речей первоклассник, бойко тряся медным ботальцем, позвонил, и школьники разбрелись по классам.

Серафима Ивановна явилась в черном, плавно облегаящем длинном платье с узеньким пояском и белым кружевным воротничком, нежно оттеняющим смуглое лицо с ямочками на щеках; окинула класс смущенным, виноватым взглядом, и школьники, привыкшие к властным учителям, удивленно затаились, а дерзкие паренки откровенно любовались. Литераторша стыдливо покраснела, потом обиженно опустила глаза долу, поскольку засмеялась Кланька Смолянинова, до срока вызревшая, отчего коричневое школьное платье смотрелось на деве словно седелка на корове, а парадный белый фартук походил на запан, что повязывают бабы, домовничая, гоношась в кути и горнице. Кланька с головушки до пят оглядела Симу ревнивым бабьим взглядом и, сварливо поджав губы, обозвала Дюймовочкой. Соседние девицы повеселели, вспомнив: Дюймовочкой в селе дразнили тетку ростом под потолок и поперек себя толще, в калитку едва пролазила. Деревенские — поперечные: ежели мужик тощий, кожа да кости, зовут Толстым; ежели баба шибко страшная на обличку, Красоткой величают; ежели хозяева скудные, едва сводят концы с концами, — Богачи.

Но с какого боку-припеку Кланька обозвала литераторшу Дюймовочкой, если Серафима Ивановна не толстая, не тонкая, по-девки ладная?! Но, видно, из литературы лишь Дюймовочка взошла в Кланькину память; да и то осела лишь потому, что довелось однажды, выйдя к доске, поведать сказку на потешный лад: «Но-о-о, Дюймовочка, махоня, малахольная такая, вроде цыпушки, но захороводилась с болотным лягушом — с кем не бывает... потом с мышом, потом с жуком... Копалась, принца ждала... На юг махнула, там нашла мужика с крыльями...»

Обозвала Кланька литераторшу Дюймовочкой и засмеялась: нашей Шуре, глупой кууре, палец покажи — ухочотется... Но спустя годы Ваня вспоминал и дивился: иные девки вроде пятерочкицы, институты кончили, по городам рассеялись, а житуха — так-сяк, наперекосяк: либо в девках подолом трясли и суразят\*\* натрясли, либо смолоду — вдовые-бедовые, да и — цветы степные, пересаженные в глиняные горшки, — увяли

\* Из популярной песни советского времени «Школьная тропинка» (музыка В. Мурадели, слова М. Лисянского).

\*\* Сураз — внебрачное чадо.

рано; а эта баба Бабариха, как позаочь, чтобы не схлопотать по шее, дразнил Кланьку Ваня, эта, подле которой однокашники казались заморышами, хотя и училась через пень-колоду, но в девках не засиделась; да, страдала по Кешке Климову, но после выпускного бала выкинула блажь из головы и вскоре вышла за домовитого деревенского парня, укочевала из районного села в деревеньку-малодворку, похожую на заимку, и зажила с мужиком по-божески, по-русски. Плодились, трудились в поте лица, а потом, во Христа крестясь, во Христа облачась, молились; и хотя упирались от темна до темна, не покладая рук, не разгибая спины, — скотины полон двор, — зато и дуреть некогда, зато и зажили крепко и не оскудели даже на голодном и холодном перевале веков. Мужик, умудрившись завести грузовик, коему не страшны худые таежные проселки, попутно заготавливал и продавал дрова. Вот и барыши ладные.

Но то случилось после, а ныне...

Ныне же явилась в школу Серафима Ивановна — словно бедная школа обнову добыла, обмыла и красуется. Перед Симой сникли даже архаровцы, кои окопались на «камчатке» — так звались задние парты — и до Симы, при мужиковатой Пелагее Сысоевне, на литературе либо трепались, либо храпели, не страшась свирепой литераторши.

А Кеху Климова — Маркена по-деревенски — сами учителя боялись, пуще польмия; хотя и роста — аршин с малахаем, но дерзкий! и отважный, деревянно сбитый, вроде багровый листвяк, от коего топор отскакивает, по-собачьи огрызаясь и повизгивая. И недаром учителя боялись паренька: прошлую зиму удалец-оголец в сердцах схватил залитую чернилами, лохматую хрестоматию и кинул в Пелагею Сысоевну, да в придачу обложил ее мужичьим матом. Благо в лицо не попал, уклонилась... И лишь за то, что литераторша, ворчливая, бранчливая, всю Маркенову плешь проела, требуя, хоть убей, вызубрить отрывок из письма Татьяны Лариной к Евгению Онегину.

О мужичке можно — тема знакомая: Маркен сызмала подсоблял бате пилить дрова для сельских контор и бани-казенки; на худой конец, можно и про буревестника, что гордо реет над седым от пены морем, — тоже знакомо, коль вырос на озернице и под чайчий плач удил рыбу; можно, и даже охотно, о вещем Олеге, что проучил неразумных хазар, — Маркен спал и видел себя шлемоносцем; можно о поле Куликовом, о Бородинской битве. Но письмо Татьяны к Онегину учить Маркена и палкой не заставили бы, а тем паче вещать: «То воля неба: я твоя; вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой; я знаю, ты мне послан богом, до гроба ты хранитель мой...»

— Может, мне старуху Изергиль\* изобразить?! — огрызнулся Маркен. — Могу Бабу-ягу... А письмо не буду, не заставите!

Но и литераторша не попускалась:

\* Героиня одноименного произведения М. Горького.

— Чтобы к завтрашнему уроку назубок! Чтобы от зубов отскакивало...

Письмом Татьяны Лариной словесница и удумала сломить Маркена, объездить уросливого жеребчика, обуздать, охомутать. Узду-то, может, и накинула; может, даже оседлала и в седло влезла, да халюный\* жеребчик закусил удила, полетел свирепым ветром да на лету и скинул седока.

Педсовет вырешил гнать Маркена из школы взашей, поганой метлой, а литераторша челом била в милиции, дабы приструнили варнака\*\*, но мать все конторские пороги прошаркала, слезами улила и выплакала парня. На школьной линейке отчитали, для острастки оставили на второй год; вот Маркен нынче и угодил в Иванов класс. По слухам, Маркенов отец, фронтовой орденоносец, поучил сына вожжами, вопрошая: «Хочешь, Кеха, неучем остаться?.. Хочешь, как я, всю жись в тайге мантулить?! Дрова пилить?!»

Ох, видно, теми вожжами и образумил батя Маркена: минует четверть века, багровой зарею взойдет грядущее столетие — и перед Иннокентием Климовым, армейским генералом, хлебнувшим мятежного Кавказа, здешние власти постелют ковровую дорожку от поскотины до школы и будут гадать: какую улицу переименовать в честь Иннокентия?.. где воздвигнуть стацию?.. и можно ли прижизненно?.. А для почина поменяют в Климовской избушке нижние венцы, сгнившие в труху, поправят забор и ворота с резными верями и двускатной крышей из соснового дранья. Но то будет после, а пока — школа.

Маркен всякое вольное время, прикрутив самодельные коньки на валенки, катался по ледяному озеру и, мечтая о коньках-норвегах, о магазинной клюшке, кривым сучком гонял по льду конский шавяк, похожий на шайбу. Подросши, напялил боксерские перчатки и, случалось, валил с ног даже зрелых парней; а посему по физкультуре ходил в пятерочниках, да и по иным предметам выбился в ударники, но литературу люто невзлюбил, словно злую мачеху. И не полюбил даже при Серафиме Ивановне, хотя вдруг, изумив братву с «камчатки», взметнул руку и, выйдя к доске, прочел «Бородино», ловко изобразив бывалого вояку:

— Да-а-а, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя... — Маркен с нарочитой горечью вздохнул. — Богатыри — не вы! — картинно указал на Ваню Краснобаева.

А ведь тот, хотя и телок смиренный, а двухпудовую гирию и кидал, и толкал, и жал; в тайге же нынче, когда готовили лес на тепляк\*\*\*, сосновые кряжи ворочал наравне с мужиками.

Маркен завершил «Бородино», Кланька гулко и смачно била в ладони — давно уж втрескалась по уши, хотя от любви не сохла, а пуще добрела в боках.

\* Халюный — горячий, своевольный.

\*\* Варнак — в старину в Сибири беглый каторжник, беглый заключенный, а позже просто разбойник.

\*\*\* Тепляк — флигель.

Если уж Маркен, врожденный футболист, хоккеист, смирился с русской словесностью, то и прочие ее терпели, но посмеивались, когда Ваня, заядлый книгочей, вызубрив стих, оглашал, невольно любуясь Серафимой Ивановной:

На заре ты ее не буди,  
На заре она сладко так спит;  
Утро дышит у ней на груди,  
Ярко пышет на ямках ланит...\*

Прости, Господи, взойдет же блажь в беспутную душу, набухшую любово-страстной лирикой! Читая, вольный малый вдруг вообразил: Серафима Ивановна сладко спит на сеновале, раскинув руки, словно крылья, разметав каштановую гриву по белой овчине, брошенной в изголовье, и сквозь щелястую крышу из усохшего соснового дранья — снопы утреннего света плавают по ланитам, а утро дышит на девьей груди...

На сей строке парнишка невольно покраснел, вдруг вообразив литераторшу женой, забыв, что Серафиму Ивановну пасет школьный труд-вик по прозвищу Киянка, — даст по башке деревянной киянкой — молоток увесистый, — и окочуришься в расцвете сил. Когда Ваня завершил стих, Маркен, ревниво слушавший, громко спросил:

— А ланиты — чо это?

Дружки его, бог весть что и удумав, заржали, словно жеребцы засто-ялые, а Серафима Ивановна, виновато и смущенно опушая глаза куколь-ными ресницами, показала пальцем на щеку.

— М-м-м... — понимающе промычал Маркен.

А Кланька Смолянинова, не вмещающая стих в деревенское разумение, подивилась:

— Не буди... А кто корову будет доить?! — и поморщилась. — Ишь, ланиты...

А Ваня переживал: про перси бы не спросили — наемни же Сера-фима Ивановна читала:

Я не желал с таким мученьем  
Лобзать уста молодых Армид,  
Иль розы пламенных ланит,  
Иль перси, полные томленьем;  
Нет, никогда порыв страстей  
Так не терзал души моей!<sup>1\*\*</sup>

Ваня, начитавшись до одури про перси, уста и ланиты, греша стишка-ми, исподтишка, чтобы архаровцы не осмеяли, умиленно гадал, кого боль-ше любит: русскую словесность или учительницу литературы. А раньше Ваню ланиты мало волновали; любил стихи про степи и леса, про озера

\* А. А. Фет «На заре ты ее не буди...».

\*\* А. С. Пушкин «Евгений Онегин», глава I, строфа XXXIII.

и реки, про деревенские промыслы, ремесла, сезонные труды, про ту же заготовку дров; и даже при Серафиме Ивановне читал любимый стих сельских ребятишек — о дровосеке, что от горшка полвершка, а уж тятё-ке подсобляет. Даже не читал, а потешно играл, и на глазах сверстников то сердобольный барин оживал, то умудренный мужичок с ноготок...

Однажды, в студеную зимнюю пору,  
Я из лесу вышел; был сильный мороз.  
Гляжу, поднимается медленно в гору  
Лошадка, везущая хворосту воз... <...>

— «...Откуда дровишки?» — «Из лесу, вестимо;  
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».  
(В лесу раздавался топор дровосека.) <...>  
— «А кой тебе годик?» — «Шестой миновал...»\*

Ишь, все куплеты выучил, а то, помнится, вышел, шалопай, к доске, начал:

— Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел... — Здесь чадо яростно поскребло затылок, по локоть засунуло палец в нос, обморочно закатило очи к потолку и, не узрев там подсказки, ловко завершило: — Я из лесу вышел... и снова зашел!

— Артист из погорелого театра. — Ревнивый Маркен низко оценил искусное чтение, ибо нашла коса на камень, ночная кошка пробежала меж уличными дружками.

А Серафима Ивановна, дивясь странному для сельского паренька пристрастию к литературе, царице искусств, полюбила юного стихоплета любовью учительской, книжной. Если литература была последним уроком, случалось, и после звонка горячо толковали о Пушкине и Гоголе, о Кольцове и Некрасове; и уже в классе шелестел слушок: мол, видели, как Иван с книжками под мышкой выходил из старого барака, где квартировала литераторша.

Ванины дружки посмеивались:

— Смотри, Ваня, как бы трудовик не шибанул киянкой по башке.

Ревниво и пугливо поглядывая на ухажера Серафимы Ивановны, русского и рослого учителя столярного труда, Ваня сжимался, когда тот показывал, как ловчее молотком-киянкой сбивать табуретку.

Похоже, и Маркен, забыв Кланьку Смолянинову, потаенно сох по литераторше, что вдруг открылось, когда старшекласников кинули на заготовку дров.

На утренней заре собрались дровосеки в школьной ограде, набились в кузов допотопного школьного грузовика «Газ-51» и с гомоном, визгом, хохотом, с озорными песнями покатали по селу. Помнится

\* Н. А. Некрасов, из поэмы «Крестьянские дети».

Ивану, горланили ходовую, подходящую случаю, задорную песенку про лесорубов:

Лесорубы,  
Ничего нас не берет —  
Ни пожары, ни морозы!  
Поселился  
Наш обветренный народ  
Между елкой и березой!  
Э-ге-гей!  
Привыкли руки к топорам!  
Только сердце  
Непослушно докторам,  
Если иволга поет по вечерам\*.

Девчата, как и ребята, в телогрейчишках, кирзачах, но иные в ярких вязаных шапках, в цветастых полушалках, и раздумялись на ветру, любо-дорого поглядеть. Ваня же вглядывался в заднее окошко кабины, высматривая Серафиму Ивановну, но за стеклом мелькал лишь сиреневый шерстяной берет и, под цвет ему, пушистый шарф.

А тут Кланька Смолянинова, согласно дровосечной страде, отголосила деревенскую частушку:

Девки любят лейтенантов,  
Бабы любят шоферов.  
Девки любят из-за формы,  
Бабы любят из-за дров.

Ветхий грузовичок, одышливо хрипя, сипя и кашляя, полз по ухабистой таежной дороге и, запыхавшись, на школьной деляне заглох. Возле свежего костровища выгрузили из кузова пилы, колуны, холщовые котомки с домашней снедью. Огляделись... На солнечном склоне широкого распадка сиреневыми всполохами цвел багульник, а в чащобе светился снег и голубели, белели подснежники. Среди пней поджидали дровосеков лиственничные кряжи, — мужики загодя свалили, сучья обрубили и собрали в вороха.

Школьный шофер, угрюмый пожилой мужик, обреченный бригадирить, разбил ребят и девчат по парам, выдал пилы, колуны и верхонки, чтобы руки не мозолить, не занозить. Ваню взяла в напарники Серафима Ивановна; и парнишка колол чурки, а учительница на лиственничные лаги укладывала поленья в ровную поленицу, по краям с помощью Вани выводя клетки.

Прошлую весну ширикали кряжи пилой-двуручкой, а в тот памятный вешний день Маркен, которого отец-лесоруб смалу впряг в таежную

\* Популярная песня 1960—1970-х годов «Лесорубы» (музыка А. Островского, стихи М. Танича).



работушку, явился с батиной бензопилой «Дружба». Ребята глядели на героя завистливо, девочки — с восхищением; но, распилив на чурки пару кражей, герой долго бился с заглохшей «Дружкой», а потом, смачно плюнув на пилу, ухватил колуна. Сын матерого лесоруба, Маркен, опять же на зависть ребят, ловко и красиво колот чурки, даже Серафима Ивановна любовалась, глядя, как парнишка, распустив чурку на плахи, ставил плаху на приземистый, толстый чурбан — и лихо летели поленья из-под играющего колуна.

Долго ли, коротко ли пыхтели работнички с пилами и колунами, но вот бригадир, прозванный «бугром», крикнул:

— Перекур!

Серафима Ивановна присела на поваленный кряж, а Ваня сбегал на край распадка и, вернувшись, принес ей букетик белых и голубых подснежников. Учительница мило улыбнулась парнишке, и тот вовсе потерял голову. Но... недолго музыка играла: когда бригадир завершил перекур, пришел Маркен и, оттеснив Ваню от Серафимы Ивановны, велел:

— Иди, Ваня, пили с девочками. Там парня не хватает.

— Ты и пойди. Пошто я-то должен?!

Маркен зло прищурился, грозно насупился:

— Иди подобру-поздорову, а то...

— А то чо?

— Чо-чо!.. Пару плюх, и отвалишь.

Над таежным распадком сгустились мрачные тучи, вызревала драка, и, уже не слушая уговоры и причитания учительницы, парнишки вкрадчивыми петухами запохаживали друг возле друга, накаляясь, поджидая удобный миг, чтобы засветить сопернику в глаз. И быть бы Ване нынче битому — духом слабак, а Маркен драться мастак, — но вдруг рядом взревел и заглох мотоцикл «Ирбит», и, когда пареньки обернулись, увидели: явился не запылится белобрысый учитель столярного труда, прозванный Киянкой. Широко улыбаясь, подошел к Серафиме Ивановне, принародно обнял литераторшу, а уж потом из люльки мотоцикла достал пилу «Дружба»...

Учителя работали споро; чему-то смеялись, исподтишка обнимались, а Маркен с Ваней безголосо плакали, прощаясь с бывлым очарованием. Эх, где вы ныне, жаркие очи, румяные ланиты, светлое чело, лебединая выя и взволнованные перси? Где бывлые страсти, палящие душу искусительным огнем?.. Всё смыла шальная полая вода...

Солнечным полуднем отдыхали у костра, и пареньки азартно разглядывали, щупали мотоцикл «М-72», и Киянка толковал: на сих «Ирбитах» русские воевали с фашистами, в люльке сидел пулеметчик и косил фрицев, как траву литовкой. А лет через десять после Победы «Ирбиты» стали продавать мирным людям, хотя в память о страшной войне на люльке красовалась короткая труба, куда стрелки вгоняли ножки пулемета.

Маркен, красуясь перед девами, бритким топором ловко натесал с сухого листовничного пня толстую щепу, похожую на распластанных

красных рыб, сложил шалашом, вглубь сунул бересту и запалил. Из двух березовых рогаток и осиновой поперечины смастерил таган, на который «бугор» подвесил закопченное ведро с талым снегом. Коль лиственничная щепка горела жарко, то вскоре вода тоненько засипела, пошла кругом, и «бугор», сняв ведро с тагана, заварил, а потом забелил крепкий чай козьим молоком.

Рассевшись на сдвинутые края, пили чай из казенных алюминиевых кружек, пили вприкуску с колотым сахаром, закусывали домашней снедью — пирожками и творожными шаньгами, и Серафима Ивановна вспомнила:

— Поскольку дрова играют великую роль в бытовой жизни русского народа, то о них писали русские писатели в прошлом и нынешнем веке. Даже поэт Маяковский воспел дрова. Да... Вот послушайте! Вначале в стихе «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»:

Любить —  
это значит:  
в глубь двора  
вбежать  
и до ночи грачьей,  
блестя топором,  
рубить дрова,  
силой  
своей  
играючи.

Похоже, Ваня, Маркен и Киянка, толком не слушая «лестницу» пролетарского стихотворца — ишь нагородил, каланча, верста коломенская, — не вникая в смысл стиха, восхищенно глазели на учительницу; а у той глаза влажно светились, щеки рдели внешними цветами жарками.

— ...Маяковский, хотя и революционно-пролетарский поэт, не менее Есенина славился любовной лирикой, и вот еще стих, посвященный возлюбленной, где опять же поминаются дрова:

Я  
много дарил  
конфет да букетов,  
но больше  
всех  
дорогих даров  
я помню  
морковь драгоценную эту  
и пол-  
полена  
березовых дров.

Позже Иван, студент филфака, вычитал у Есенина: «Ляжет бревно в литературе, и не обойти, не перешагнуть...»; а вычитав, вспомнил, что, читая Маяковского, Серафима Ивановна сидела на бревне рядом с Киянкой. А тот, будучи учителем столярного труда, словоохотливостью не отличался, но вдруг поведал неведомо где услышанную притчу о мудром дровосеке:

— Глядел я на Кешу Климова да на Ваню Краснобаева, вижу: состязаются соперники... — покосился на Серафиму Ивановну, и дева-краса заалела, опушила глаза густыми ресницами. — Глядя на ребят, вспомнил: читал в книженции...

В пересказе Киянки притча звучала так. Состязались два лесоруба, кто за три часа повалит топором больше сосен, и, когда судья свистнул, что есть мочи замахали топорами, вгрызаясь в сосновую плоть. Первый лесоруб через всякие полчаса замирал — вроде отдыхал; а второй думал: «Самое время обгонять!» — и пуще рубил топором. Пролетели три часа, судья просвистел отбой; и второй лесоруб был ошеломлен, когда судья известили, что первый за три часа срубил вдвое больше сосен. «Как ты смог меня обогнать?! — обиженно возопил первый. — Ты же каждые полчаса отдыхал, а я рубил и рубил без передыху!» «Да, я останавливался, — ответил второй лесоруб, — но не отдохнуть, а подточить топор, а ты рубил и рубил тупым...»

Заполошной, быстротечной весной отшумела юность, разметавшая соперников по белу свету. Иннокентий Климов тянул офицерскую ляжку. Иван Краснобаев, будучи газетчиком, шатался по сибирским деревням и селам. Потом из сельского очеркиста возрос до очеркового литератора; и через четверть века после памятной заготовки дров вдруг случайно встретил Серафиму Ивановну в Иркутске — лечила нервы в здешней здравнице, иногда выбиралась в город, любуясь чудесами деревянного и каменного зодчества.

Иван выведал: Серафима Ивановна с учителем столярного труда вырастила сына и дочь, но рано овдовела и ныне одиноко доживала век в стареньком, ветхом городишке. Былая краса Серафимы Ивановны поосеннему построжала, словно уготовленная к грядущей зиме; и, вновь очарованный, Иван год жил перепиской, потом навестил учительницу в сонном городишке, но вдруг — короткое послание, где Серафима Ивановна оповестила: «Ваня, радость моя, дни мои сочтены; и через месяц, будешь в храме, поставь на канун свечку во упокой моей грешной души; да и в алтарь пошли заупокойную записку. И я посильно молюсь о душе твоей...» Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоей Серафимы, прости ей вся согрешения, вольная и невольная, и даруй ей Царство Небесное...

## Лесные займки и дрова

У мужиков случаются увлечения: иной почтовые марки копит, иной проще — спичечные этикетки; иной за полевыми бабочками угорело носится (слава богу, не за бабами); иной шарится по тайге

с понягой\* на горбу; иной, словно горный козел, скачет по скалам; иной тьму денег ухитил на черную зависть простолюдыю и путешествует по миру на белой крейсерской яхте — в белых штанах, а зазноба в чем мать родила; иной, что нынче в диковину, забивает шкафы и полки книгами; иной увлекается футболом, иной — спиртоболом. А Иван Краснобаев увлекался дровами — тридцать зим пилил дрова на лесных заимках — да, к слову сказать, еще и сажал картошку.

Душно, скучно, гибельно сельской душе в бетонной пещере, а посему Иван, будучи доцентом университета, потом — мелким издателем, дня три в неделю служил, прочие дни — на дачах; а выйдя на пенсию, и все не выводился из лесных заимок, забредая в город лишь от житейской нужи и крещенской стужи.

Но пока до пенсии, як медному котелку, служить да служить; и абы не стыть в дачной избе, абы размяться и по зимнему лесу прогуляться, Иван пилил дрова; да так дровяная страда втемяшилась в разум, что, бывало, катит на поезде, хлебает чай из граненого стакана с резным подстаканником и глядит в окошко, где снежные поля и леса, где утонувшие в сугробах ветхие избенки, — глядит и вроде любитесь, но, любясь, вольно ли, невольно ли высматривает сушины, годные на дрова, не сопревшие в коре.

За четверть века случались отрадные зимы, когда Иван даже в крещенскую стужу обитал на дачах, хвастливо величая их «лесные заимки», ибо вначале обрел избушку в таежном байкальском распадке, потом — ближе к городу, на затяжном пологом хребте. А коль перелесок под рукой, то поздней осенью, зимой и ранней весной заготовливал дрова.

Заселившись в тенистом распадке на отшибе байкальского села Култук, Иван обиженно вопрошал себя: «Что творится-то, а!.. В лесу живу, а без дров сижу. Жить у воды, да не напиться...» Но усадьба покойного кузнеца-единоличника досталась с дощатым сараем, где, лаково взблескивая, чернел каменный уголь. Хотя и не мил уголь — пылища да угарный жар, — но вынужден просеивать его сквозь панцирную сетку и топить плиту, хотя русскую печь не поганил углем, протапливал дровами; и благо угля хватило лишь на зиму, потом пришлось по старинке, свалив топором, таскать с хребта сухостойные березы и осины.

Поначалу навещал байкальскую заимку короткими набегами — работенки выше крыши, — и однажды поздней весной прибежал переколоть дровишки: сухие чурки уже давно и бесхозно дыбились горой посреди ограды, желтеющей одуванчиками; и уж взялся за колун — нагрянули гости, словно в песне: «Самолет летит, колеса стерлись, мы не ждали вас, а вы приперлись...»

После гостей Иван сам гостил в родном забайкальском селе; и уже посреди лета колол чурки, набухшие травяной сыростью, вязкие, заплесневелые. Ладно, листвяк, сосняк — терпеливый, а уж береза под шкурой

\* Поняга — самошитый таежный рюкзак.

шибко преет в жару, быстро гниет, и, бывало, найдешь в тайге брошенную березовую чурку, возьмешь в руки, а из чурки, как из трубы, сыплется изжелта-белый сухой прах. Словом, дрова вышли никудышные, но уж зато следующее лето поленья, березовые вперемешку с лиственничными, заготовленные по зиме, сложенные в стройную поленницу, тешили хозяйский глаз.

И, помнится, вырвался Иван на заимку вначале весны, вошел в ограду и остолбенел: от поленницы, как от горемычного козла, остались рожки да ножки. Догадался — да и санный след указал — дрова укладывали в усадьбу Хомяка; хотя какая, господи прости, усадьба, коль Хомяк, пьющий на пару с Хомячихой, давно уж спалил дощатый заплот, сараюшки, стаюшки и ныне избенка нищенски чернела на семи ветрах. Теперь и на Ивановы дрова позарился: видно, голод да холод не тетка, как замерзать — пошел воровать. Парень, позаочь прозванный Хомяком, — косая сажень в плечах, борода до колена, а дров ни полена; и хорошо, Хомячиха, эдакая юркая махоня, на Московском тракте от случая к случаю торговала копченым байкальским омулем, а то бы и вовсе загнули.

Вспомнилось, по осени завернул Хомяк одолжить гроши на похмелье (займи мне, а возьми на пне), и с лютой завистью смотрел увалень на поленницу, что золотилась на утренней заре; и хотелось Ивану усмехнуться: завидки берут, на чужу кучу глаза пучишь; но предчувствие затомило душу — вороват Хомяк... Да так оно и вышло, после чего Иван, тяжело вздохнул и вырешил: «Пора, хомячки, прощаться с вами и с байкальской заимкой...»

Эх, ни дров, ни лучины, а живут без кручины; как ни заглянешь — либо, обнявшись, дрыхнут среди бела дня, либо жрут паленую водку, что у шинкарки обменяли на ворованное барахло — видно, очередную дачу обчистили. Хомяк фомкой дергал дверные пробои, Хомячиха сноровисто совала в заплечный сидор дачное барахло, не брезгуя и шторами из посеревшего, древнего тюля. Но бог шельму метит: не бывает вор богат, а бывает горбат; хотя и не вырос горб на спине Хомяка, но по пьянке обморозил пальцы, и жутко смотреть, как сжимал горемыка культиями граненый стакан с паленым пойлом. Но, говаривал Хомяк, нет худа без добра — дали пенсию по инвалидности, правда гроши, лишь для поддержки штанов, чтоб не упали, но и за то поклон собесу\*.

Иван, не помнящий зла, жалостливо размышлял: «Не я — Бог им судья, поселковым хомякам; у нас, богемных любодеев, грехи потяжелей... Да, вороваты, но ведь алкогольная зависимость — хворь, а с хворых какой спрос? В кармане вша на аркане, а душа горит геенским полымем, требует катанку. Поневоле бежишь по дачам; высмотришь, что худо лежит, отнесешь шинкарке, а та, лихая бабица, вынесет пластиковый пузырь сладковатой отравы, погружающей душу в желанный бред...»

\* Собес — государственный орган социальной помощи населению.

Иван редко вспоминал култуковских Хомяков, а если и поминал в застольных беседах, то ради потехи; чаще же, словно в счастливом сне, виделся таежный распадок с извилистым ручьем и усадьба, любимая до слез, что лепилась к плешивой сопке, с вершины которой семейство Краснобаевых любовалось священным озером Байкал. В памяти оживали закаты и рассветы в кедрачах, брусничниках, черничниках, в грибных сосновых борах; слышались азартные беседы у ночного костра; оживали и вдохновенные ночи, когда, исписав пачку серой бумаги, сладостно утомленный выходил в ограду и душа счастливо кружила над вершинами древних сосен и лиственей, возносясь к звездной россыпи.

Помнится, студенты-журналисты писали зарисовки о вешних лесах и полях с использованием просторечной лексики и фразеологии, а Иван Петрович Краснобаев, университетский доцент, пялился в окошко, вспоминая вчерашний день. Вчера обитал на байкальской заимке, что таилась в распадке, под сенью двух таежных хребтов; вчера волочил с угора сухостойную осину на дрова и конопатил мхом банный сруб, а ночью, кружа воображением в родимом селе, с тихим восторгом сочинял роман о сельском детстве и отрочестве.

До слез любил Иван байкальскую усадьбу; тосковал, словно по матери, забытой-заброшенной в лесной глуши, а выпив хмельную чару, лил покаянные слезы на столешню. В распадке росла малая дочь, выросла старшая, рядом жили добрые приятели — писатели и живописцы; в избушке меж крутых хребтов, случалось, вдохновенно читал и сочинял ночи напролет; а днями азартно пахал на усадьбе. Поклон Лесной улочке, что народилась у говорливого ручья...

\*\*\*

По осени, когда лиходеи дважды выломали двери в избу и вынесли жалкую утварь, когда вырыли картошку, — а Краснобаевы в урожайное лето накапывали дюжину кулей, — когда и поленницу дров уволокли, Иван горестно доспел: дача в нищем поселке — искус безработному, хмельному люду, а посему решил кочевать в дачное садоводство, подальше от лихих селений. По дешевке продал усадьбу и через год поселился в избушке, радуясь: полчаса ходьбы от полустанка и окнами в пологий хребет, у изножья поросший березняком, сосняком и осинником, а повыше — листвяком, столь желанным печи в крещенскую стужу. И в радость дровосеку, что у полустанка имя лесное — Листвяничный и у садоводства лесное — Березовое.

«Эх, в тайге бы заимку, — вздыхал Иван в послании писателю Тарковскому, что четверть века штатно охотился в енисейской северной тайге. — Завидую снежной завистью: ты обитаешь в тайге, я под грохот поездов живу в пригородном березняке и сосняке. Охота пожить в зимовье, в краю непуганых рыб и бичей, когда рыбища клюет на голый крючок и рвет жилку, когда в тайге черным-черно от черники и вишнево

от брусники, а рыжиков, сырых груздей — хоть литовкой коси... Свистни, прибегу...»

Свистнул бы, да, поди, чуёт: не разбежится товарищ, коль шарит в кармане, хватит ли на трамвайный билет. Опять же Иван зря приbedнялся в послании; слава Всевышнему, и его леса добры: могучие сосны и лиственни рядом со звонколистым, певучим березняком.

В прошлом году — затяжная поздняя осень, теплая, посему и сиротская, и вербе почудилось — весна: распушилась, яко на Вербное воскресенье. Ох, поспешила верба с пухом: на Казанскую Богородицу небо с утра прослезилось, а к потемкам приморозило, ночью оттепило, и до рассвета — густой снегопад. Верно речено стариками: осеннее ненастье — семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет, сверху льет и снизу метет. Потом весна явилась, тоже не чище; времена года хороводились вокруг лесной избушки, томили душу сладкой истомой, потом жгли душу горечью одинокого, необласканного житья-бытья.

Марья — зажги снега, заиграй овражки — с любовью, но по-свойски, словно деревенскую женку, сельские мужики и бабы величали преподобную Марию Египетскую; и в день ее апрельский вдруг с отцветающих небес на вешние леса и поля слетелись все времена года: Весна — игривая дева, украшенная звонколистым зеленым венцом, Лето — томная дева в цветастом сарафане, разметавшая по смуглым плечам белесые косы, Осень — грустная дева, накинувшая багряную шаль, и Зима — суровая дева в синевато-белом покровце. Взявшись за руки, девы повели хоровод: с утра по-зимнему примораживало, потом валил сырой осенний снег, а к полудню припекло весеннее солнышко, звенели ручьи, и по-летнему зеленела, цвела мурава по сухим угорам.

\*\*\*

Желанно вспомнилась давнишняя ранняя осень: двадцать второе октября — Яков-древопилец; на лесной заимке робкий рыхлый снег; в заснеженной роще среди голых берез поперечная нравом, стойкая береза в зеленой листве; и гадал Иван, глядя в окошко: хворь кумушку одолела или, наоборот, шибко здоровая и земля обильная в корнях?.. А потом иная загадка одолела: на Якова-древопильца, коли снег лежал крепко, мужики ладили санный путь в тайгу, расчиляли дровосек — раннюю заготовку дров либо строевого леса; но с какого бока-припека, с каких пирогов деревенские мужики обозвали апостола Иакова Алфеева древопильцем, ежели в житии святого и слова не молвлено про заготовку дров и леса?! Хотя в деревенском месяцеслове эдакие чудеса сплошь и рядом: подгадал Иаков под дровяную страду — вот и древопилец.

Словом, в день апостола Иакова Алфеева, брата святого евангелиста Матфея, на Ивановой заимке выпал снег... Вечор на солнопечных угорах, среди белесой ветоши, куртинками зеленела поздняя мурава, а утром — белым-бело. Ближе к полудню подул тугой верховик, погнал за таежный



хребет стаи серых туч; над разлапистыми соснами взыграла метель — в порывах ветра с лап и вершин летел и омутно вихрился сухой снег. После полудня небо засинело, ярко отражаясь в проселочных лужах, и повешнему запела капель. Но в лесу снег уже лег зимовать, и коль привалил Яков-древопилец, то Иван, сунув топор за кушак, рванул в лес — сбить охотку, оглядеть угодьё да, глядишь, прихватить малую сушину.

\*\*\*

Нынче предзимье подкралось тихо, потаенно, яко плешь у мужика: вчера вились кудри, словно буйная осока лохматилась на кочке, сегодня жалко висят кудерьки вокруг потной зальсины. Предвидя дровосечный азарт, Иван торопил зиму, жил на заимке в ожидании снега, коему пора бы укрыть земелюшку, коли уж Покров пришел.

На Покров Божией Матери Иван молился в храме Святого Харлампия и, сражаясь со смертными грехами, вымаливал у Царицы Небесной спасение: «Помяни мя во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородица, да не погибну за умножение грехов моих, покрой мя от всякого зла и лютых напастей; на Тя бо уповаю и Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаю».

После обедни выбрался на лесную заимку, открыл печную выюшку, выгреб из поддувала пепел, а то уже подпирает дверку, сыплется на притопочный железный лист, и протопил печь жаркими лиственничными поленьями, хотя, жалея бедные запасы дров, мог бы и попросить, как в ранешней деревне: «Батюшка Покров, натопи печку без дров». Натопил бы... Вспомнил: однажды на Крещение (прости, Господи, грешника) упился красного вина и уснул на заимке — в сохатиных унтах и монгольской дубленке, с долгим вишневым шарфом, что умудрился повязать стильным узлом. Да и будешь спать эдак стильно, ежели изба не протоплена и пар изо рта клубится. Хотя дрова с вечера занес, а на топку сил не хватило.

Коль Покров, то и привиделось Ивану далекое до слез, когда деревенские сверстницы гадали: «Бел снег землю покрывает; не меня ль молоду замуж снаряжает?...» Эх, Ивановы деревенские сверстницы, войдя в девьи лета, случалось, ворожили на женихов, а глядя на каганец, что светил из русской печи, пели:

Каганец, каганец,  
Ты скажи мне, молодец,  
Когда жених ко мне придет,  
Смоляных дров привезет?

А уж на Покров просом просили: «Покрой, батюшка Покров, землю снежком, а молодуху — кокошником!» А то и чуднее умоляли: «Покров Пресвятой Богородицы, покрой мою победную головушку жемчужным кокошником, золотым подзатыльничком».

Укроется свадебным кокошником и подзатыльничком сестрица-молодица, а укроется ли земля снегом?.. И вот сел Иван чаевать, обморочно уставившись в окно; да вдруг почудилось: кусты жимолости, вишни и крыжовника затаились в предвкушении снега, но трава — зеленая, но цветут дерзкие синие цветы и листья не пожелтели у одичавшей вишни. Тепло, на окошке стадами божьи коровки пасутся, словно на лесной заимке бабье лето, что давным-давно отошло. Впрочем, обрядолобцы толковали, что иное бабье лето лишь на Покров завершается и тогда земля укрывается белой бабьей шалью.

Глядя в зеленый сад, гадая про снег покровский, Иван тихо задремал, откинувшись в кресле; очнулся, открыл глаза: Боже мой!.. в саду белым-бело, и лес заснеженный, словно Иван уснул зеленым летом, а проснулся белой зимушкой. Убрело бабье лето, мужичья зима привалила; пора снег разгрести и торить тропу на лесной угор.

Утром вышел на крылечко, глянул: господи, столь снега выпало, что угнутая малина спряталась в сугробе и от кустов жимолости, вишни, крыжовника торчали лишь макушки. Ближе к полудню ветер-верховик разогнал снежные тучи и под голубыми небесами снег, утаивший тоскливую серую землю и сивую ветошь, радостно искрился, сочно, певуче скрипел под валенками. До полудня, скинув телогрейку, Иван в охотку махал деревянной лопатой, торя тропинки, расчищая ограду для будущих кряжей и чурок.

Зима... В памяти поддужным колокольцем своевольно звенел стих:

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,  
На дровнях обновляет путь;  
Его лошадка, снег почуя,  
Плетется рысью как-нибудь...\*

«Плетется рысью» смешно звучит, поправить бы Александру Сергеевичу, думал Иван, собираясь в хребет. Надо осмотреться, выбрать на повал березы и осины, в кронах которых жалко трепещут на ветру две-три чахлые ветки; эти лесины с гнилыми сердцевинами обречены на погибель и со дня на день рухнут. Лет пять назад горел и без того хворый здешний лес и пожар подкрался к дачному поселю, но, слава богу, вышли дачники соборно да и погасили пламя. Но леса пострадало изрядно: обгорели комли матерых лесин, отныне похожих на гнилые зубы с черными дуплами. Подобные и брал Иван, даже если лесины росли на гребне затяжного хребта; а деревья с пышной кроной обходил — пусть очищают воздух от заводского чада и смрада.

А вот сосед напротив, летующий и зимующий на даче, пластал березы с краю леса и подряд, оставляя после себя поляны с высокими пнями, словно могильными крестами. Иван спилил пни под корень и с каждого пня добыл по две чурки дров. Сосед, судовой моторист в отставке, сухой,

\* А. С. Пушкин «Евгений Онегин», глава 5, строфа II.

смуглый, с носом что кривая турецкая сабля, злой до работы, зимой от темна до темна возил хлысты и кряжи через Иванову усадьбу с калиткой в лес; и когда в очередной раз тащил санки с доброй добычей, Иван добродушно посоветовал:

— Ты бы, сосед, повыше ходил да валил хворые. А то выпласташь, облысеет хребет...

— А мне плевать, на мой век хватит. Буржуи всю тайгу сибирскую в Китай уперли, а чо уж говорить про корявые березки!

— Это, сосед, не оправдание.

Обиделся сосед, наторил тропу в хребет через другую усадьбу; а Ивану жалко редееющий лес, жалко и соседа — хворый же, коли злой, как пес цепной.

«Ну, Бог ему судья...» — махнул рукой Иван и полез в угор. Побродил по лесу, зорко высматривая павшие деревья и сушины, надыбал сохнущую на корню осину и завершил поход в долгий хребет со скудной добычей: береста на растопку и ветки багула, что в тепле и зимой цветут сиреневым цветом.

А утром в чиненной внахлест, линиялой телогрейке, в старых катанках, сунув под кушак острый топор, крестьянский сын Иван Краснобаев впрягся вместо клячи в кондово сбитые сани с железными подрезями и, радуясь снегу, порысил в хребет. На гребне, помолясь, перекрестясь, плюнуv на ладони, словно встарь, срубил топором у самого комля помеченную осину.

Даже зажив за семьдесят, Иван пахал не шель-шевель\*, а чертомелил, словно молодой, и бегал как угорелый, но... сколь ни хорохорился, годы брали в полон, укатали сивку крутые горки. Вот и ныне, свалил осину — ушомкался, одышливо опал на добытый осиновый хлыст и учуял, как загнанно стучит сердце, мечется в клетке убогое.

Оглядел лесную благодать: снег иссиня-белый, небо высокое, голубое, солнце печет, сосны золотятся, — и дыхание наладилось, и сердце успокоилось, и в душе — райский умиленный покой, и сладостная дрема одолела, и дремотные мысли вяло роились под малахаем: «Рвану в столицу — и в Кремль в эдаком облачении: в телогрейке, в подшитых катанках. Пусть видят, как живет писатель, выходец из народа: и в пир, и в мир, и в лес по дрова — все одежда одна. Выходцев при серпе да молоте и в Кремле с хлебом-солью встречали, а ныне Кремль скажет: “Такой ты, Ваня, и писатель, коли в телогрейке... Чучело замшелое. И едешь в дачной электричке да в раздрызганной маршрутке, где народу битком, как сельдей в бочке; а путние писатели живут кум королю: из Парижа не вылазят, обитают в хоромах, катаются на легковушках...”»

Здесь стоит молвить: Иван, в отрочестве водитель колхозной кобылы, даже в буйном воображении не мог узреть себя водителем

\* Шель-шевель — медленно, нерасторопно (обл.).

легковушки, хотя прыткие Ивановы приятели давно уже завели железных кобыл. Но Иван полвека утешался тем, что ходьба удлиняет земное обитание, вечное же сидение за рулем — укорачивает. А ходить довелось изрядно: полвека брал голубицу, черницу, брусницу, одолевая заходы в пять, семь и десять верст, да в крутые хребты, возвращаясь с горбовиком, битком набитым ягодой. С трудом водрузив на спину горбовик либо пестерь (подобие рюкзака, но из тонкого алюминия), натужно спускаешься с хребта сквозь буреломы, то на карачках проползаешь под лесиной, нависшей над тропой, то перебираешься через толстые скользкие валежины и, обливаясь жарким потом, кляня осатаневших паутов либо комаров, яростно зарекаешься: «Палкой теперь в хребет не загонишь, да я лучше на базаре ягоды куплю, чем в тайге маяться!» Но зароки, словно талый снег, испаряются под жарким солнышком, и перед глазами синим-синие от черницы, красным-красно от брусницы, а вспомнишь ночи у костра, азартные беседы до рассвета — и за макушкой лета, ближе к осени, властно повлечет в хребты.

Иван, чуждый спорту, нынче осознал, что уже сорок лет турист с вечной понягой на горбу; осознал, когда с рюкзачищем тронулся на дачу и залез в маршрутку, где народу битком; всех распахал, отчего у юнцов и девушек в раздраженных глазах виделось: «Охренел дед, с огромным рюкзачищем в маршрутку влез! И чо деду дома не сидится?! Ладно бы лето, а то зима...» Иван, часто и тяжело вздыхая, подумал: надо переходить на легкий прогулочный туризм по аллеям парка...

Полвека прожил Иван, пехом забираясь в хребты да еженедельно топя по три версты на лесную заимку, поддегивая увесистый рюкзак на горбу, хмуро оглядывая скользящие мимо легковушки. Но сейчас, сидя на дородном пне, Иван не размышлял о ездоках и пешеходах; сейчас думы выплетались чуднее: «Ежели, скажем, в телогрейке в Кремле окажусь, Кремль, однако, поморщится: “По одежке, Ваня, протягивай ножки”. Хотя и на порог, поди, не пустят. А жаль, даже царь принимал крестьян в лаптях; да и Ленин, хотя и богохул, но принимал ходоков в нищенских рубищах. Кажется, пришельцы даже чаевали с Ильичом; но, как грешили на вождя монархисты, Ильич присматривал, чтобы гости не свистнули серебряные ложечки...»

Страхнув дремотные думы, Иван воткнул в уши наушники, подключенные к телефону, и в душе ожила Благая весть: «Тако будут последний перви, и первии последни: мнози бо суть звани, мало же избранных...»

Абы глаголы Божии не затмились житейскими мыслишками, словно хлебные нивы плевелами, добавил звук в наушниках и, загрузив осино-вый хлыст в сани, поволок добычу с хребта. Мимолетно подумал: «Ведь и Царь Небесный в земной юности плотничал и, поди, с отцом и братьями заготавливал дрова... Хотя какие дрова в Иудее, в Израиле?! Хворост...»

Утром, барахтаясь в сугробах, Иван брел по взлобку выше в хребет: дальше в лес — больше дров; а в изножье хребта продирался сквозь сосновое мелколесье, и с потревоженных лохматых лап сыпался снег, да ладно, что обратил дровосека в снеговика, но и за шиворот угодил, стылými ручьями скатываясь по жаркой спине.

Долго ли, коротко ли, забрался на хребтинку, облюбывал сухостойный листвяк; и, помолясь на восток, вдруг сразу завел изработанную, капризную бензопилу, и цепь люто вгрызлась в древесную плоть. Иван пожалел, что дерзко и опасно замахнулся без пособника на эдакий могучий листвяк.

Но, слава богу, прицельно ухнула лесина, к радости Ивана не зависла кроной на разлапистой сосне; а случалось, лесина, падая, зависала на соседних деревьях, и приходилось либо раскачивать, чтобы упала, либо рискованно пилить на весу, а то и бросать в надежде, что за лето свалят буйные ветра. Ныне же, благополучно свалив дородный листвяк, срубил сучки и собрал в копешку — к будущей зиме просохнут, можно в снегах запалить костер, сварить чай с брусничным листом. Убрал сучья, вновь завел бензопилу и, слушая ее кликушеские завывания, раскрывал лесину. Запыхался, смахнул снежный малахай с матерого пня, присел, глядя на березовый и осиновый молодняк, утопающий в голубоватых суметах; окинул взглядом сосны от прокопченных комлей до зеленых крон, замерших в небесной голубизне. В небеса уплывет душа, и слезы отуманили взгляд...

Лес — воистину рождественская сказка: отроческие сósенки в снежных полушалках, от рослых сосен, лиственей и берез синеватые предсумерчные тени, и тишь божественная, и покой небесный. А глянул на лесной облысок — белым-бело; и невольно помянулся стих из псалма: «... мышцы мя, [Спасе], и паче снега убелюся...» Побелела борода и грива, а душа не убелилась, морошно в душе, смутно от похотей...

Засиделся, любуясь рождественским лесом, и подумал: «И на кой леший волочиться за тыщи верст, дабы узреть красоту, ежели везде Божья краса: и в седой заунывной степи, и в таежной глухомани, и среди царственных скал, и в певучих цветастых долинах рек и озер. Да что далёко ходить?! Погожим летним днем вышел на крыльцо — и обомлел от горней красы: радужное буйное разноцветье-разнотравье, а за тыном — сосны, от сосен тепло на душе, вокруг сосен — девым хороводом плывут певучие березы; а ночью — звезды сияют над сосновыми верхушками, из хребта всплывает багровая дородная луна, и сад — призрачно-инистый, таинственный, отчужденный, словно не тот, что веселил душу солнечным полуднем. Я люблюсь, встречая прекраснóдушных жен и мужей, но среди добрейших живут и святые, живут ради спасения грешных, ошеломляя рабов греха вольной красотой духа. Эдак и в земной красе...»

Толкуя о здешних причудливых красотах, полвека вопрошали Ивана: «А ты, Ваня, был на Ольхоне?» — «Нет...» Глаза вопрошателя дико округлялись: «Ка-ак!.. Ты!.. не был!.. на Ольхоне!.. Обитаешь подле Байкала — и не посетил остров Ольхон!.. Ужас!..» Иван повинно опускал глаза долу и подыскивал оправдания: «Оно и впрямь, ужас, что не посетил Ольхон, — говорят, красота неопишная; но, дружище, недосуг, да и в кармане блоха на аркане...»

Но однажды надумал Иван рвануть на родные степные озера, где вырос, да земляки оповестили: высохли забайкальские озера, обратились в лягушачьи болота. Долго кручина томила душу, но горе забывчиво, рана заплывчатая, и, одолев тоску, Иван вдруг вспомнил остров Ольхон. Забайкальской степью отичей и дедичей веяло, когда колесил по усть-ордынской степи, и автобусишко трясло на дорожной гребенке, как в ознобе. А степь обратилась в лесостепь, отпахнулся Байкал, озерная синь хлынула в счастливые глаза, и тряская пыльная дорога забылась. Паром переплавил Ивана на остров Ольхон, и уверился мужик на закате лет: красота божественная, особо если видишь скалы — древних динозавров, что испили байкальской воды, онемели и окаменели. Красоты тамошние Иван запечатлел на простеньких карточках; и дружище, алтайский стихотворец Сергей Чепров, узревши карточки в интернете, восторженно написал: «Да ты, брат, в раю живешь...» — на что Иван письменно и ответил: «По поводу рая, брат, загнул; живем во грехах, яко во шелках; живем не в рай, не в муку — на скорую руку. И природы — райского Творения Божия — недостойны, но каемся...»

Лесную тишь огласил колокольный трезвон (эдак голосил мобильный телефон Ивана) — звонила корректор, дама, заматеревшая в литературном журнале «Родная Сибирь», где Иван пятый год главный редактор; и коль корректор говорливая, дотошная, то совещание затянулось и у редактора озябли ноги, утопающие в рыхлом снегу. «Чтой-то ноги стали зябнуть, не пора ли нам дерябнуть... хотя бы чая с малиной?» — подумал Иван, глядя вдоль тропы, ведущей к теплomu крову.

— А вы где, Иван Петрович? — интересовалась корректор.

— Где-где... Сижу на пне. Ноги замерзли. Вышел в лес по дровишки...

Всякий раз дивилась корректор, смолоду привыкшая, что главный редактор, яко на троне, восседает в кресле, а на массивном письменном столе — рукописи, журнальные гранки и рядом карандашница, пепельница, бюст Пушкина на лавочке — всё из белого мрамора либо из черного чугуна.

Попрощавшись с корректором, Иван тронулся на заимку; и потом три дня вывозил листовничные кряжи, груженные на сани, что самостийно скользили с хребта по накатанной тропе, а дровосек, словно сказочный Емеля, сзади управлял вожжами; и порой сани так разгонялись, что приходилось бежать следом и сдерживать их скольжение, натягивая вожжи.



Потом Иван напил осины — прочищает печные ходы, колодцы и трубу; а вечером выдумал заделье — вырезал из осиновой плашки деревянную доску для хлеба; а коль древодельное мастерство в руках не ночевало, вышло нечто забавное, под вид рыбы-камбалы.

\*\*\*

Однажды солнечным полуднем, отдыхая на пне, Иван прикрыл глаза от слепящего снега, привычно задремал и... очнулся в столичном музее Пушкина, где удостоился премии Дельвига за книгу очерков, где — для Ивана несвучно — величали его Иван Петрович. А накануне вручения, вольготно откинувшись в барском кресле, мчался на скоростной электричке из Домодедова в Москву, оценивал взглядом чахлые осенние перелески, где среди серых снегов и густого чапыжника белели корявые березы да изредка желтели сосны, печально и зачарованно глядящие в слезливые небеса, набрякшие мороком.

И вдруг, породив улыбки попутчиков, Иван хлопнул себя по лбу: ведь не глядит же вхолостую, зевая и считая ворон, а цепким взглядом ищет сухостоины и чахлые деревья, что завтра засохнут, — здоровый лес жалко брать: легкие планеты, — и, выудив взглядом сухую лесину, запомнив, что от Байкала до Москвы шесть тысяч верст, прикидывает хвост к носу, как ловчее сушину свалить, раскряжевать, а кряжи, впрягшись в сани, уволочь в дачную усадьбу.

Щедро обмыв премию, похмельный Иван из Белокаменной махнул на поезде в песельную Вологду, где быстро исцелился; ехал по России — и в обрдевших сосняках, березняках и осинниках, плывущих за вагонным стеклом, опять же выглядывал сушины и свежие валежины, а в селах и деревнях — поленницы дров, кои в досельную пору хваткие мужики городили и в оградах, и на задворках, за стайками, амбарами, а если улица широкая, то и за тынами и частоколами. Чудилось, ежели обильны, крепки и украсны поленницы, то и мужик благочестивый, безунывный, крепкий душой и плотью, и баба домовитая, на обличку бравая, и чада — отцу, матери добрые и скорые пособники. Но, увы, было да сплыло, быльем поросло...

Какие уж, Господи, поленницы дров, ежели на тоскливом изломе веков по земле русской деревеньки унылы, убоги, наги и сиры, словно побирушки-помирушки, укрывши голь лохмотьями, выбрали к железной дороге с протянутой рукой. Вроде пьяные, косые-кривые избушки-завалюшки со дня на день, охмелевши, отяжелевши, падут в подзаборный бурьян: окошки — мутные, по-старушечьи подслеповатые, а иные и бельмастые, с оторванными ставнями; крыши — без конька и охлупеня, изогнутые посреди, с ломаным шифером, латанные-перелатанные; огорожи с павшими пряслами, разоренные стайки и сеновалы, щербатые палисады, где чахнут кусты сирени, рябины и черемухи. На замшелых, старчески стемневших избах, где предсмертно теплится жизнь,



вместо резных коньков красуются телеантенны, заманивая в жилье любострастных демонов.

А вот в захлавленной ограде баба с охами-вздохами, кляня мужика-летуна, колет дрова, и колун в бабьих руках до слез чужероден; а по соседству старуха с долгими стонами, одышливо тюкает чурку корявым и ржавым топориком; а вечерами при керосиновой лампе молится за сыновей и дочерей, рассеянных по белу свету.

Глядел Иван из вагонного окошка, тоска морочила душу, и, дабы не впасть в грешное унынье (тут и хвори одолеют), покаянно шептал: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и сохрани народ мой...»

Помянулось Ивану давнишнее, еще в рабоче-крестьянском царстве, памятное путешествие по родному Забайкалью. Степь — унылая песнь кочевника, похожая на вольный ветер, волнующий ковыль; а в линиях ковыльскую зелень, в чахлые овечьи травы косами вплетаются мерцающие цветы сон-травы, шалфея, горицвета, чабреца. Потом — степные увалы, словно верблюжьи горбы в призрачном мерцании трав и цветов; а над степью парит орел, а по солнечным увалам кочуют тени облаков и отары овец, словно брошенные с небес живые овчины.

Крытый сивым брезентом, дребезжащий газик, вздымая пыльный хвост, скакал по грунтовой дороге, и путники сморенно, сонно глядели в степную даль, где не за что глазу уцепиться, увеселиться — ни деревца, ни кустика, лишь изредка, словно рукотворный, вырастет придорожный курган с каменной россыпью на вершине и сиреневыми всполохами чабреца у изножья.

Разбудила, потешила Иванову душу отара овец, что блеющей рекой текла через тракт, надолго заслонив путь, а когда машина тихо тронулась, самые беспутые\* овцы толпились перед бампером, потом, истошно вопя, побежали вперед. Вот так же, бывало, семенили перед машиной ошалевшие коровы, не догадываясь, что подобру-поздорову свернуть бы на обочину, а быки, свирепо угнув шеи, пытались еще и боднуть машину, облившись на выхлопной угар и моторный рев.

За отарой — бараний гурт: изба, похожая на юрту, низенькая овечья база да поседевшие от зноя прясла загонов. «И чем буряты топятся?.. — торопливо, пока гурт не ушел с глаз, высматривал Ваня поленницу дров, но, даже осинового полешка не узрев, решил: — Поди, хохир жгут — сушим назьмом печки топят. Или уж к зиме дровами запасутся...»

И вновь — томящий душу Московский тракт, куда, словно в реку, впадают ручьи мягких проселочных дорог. Да, испокон веку русскую душу и сладостно, и горько томят проселки, уходящие в степную, полевую, лесную даль, а тем паче излучины дорог.

Иван — мужик лесостепной, но все же уморила дремлющая степь; и благо, что машина мягко и беспыльно покатила по влажной пойме речушки, заросшей ивой, ольхой, черемушником и боярышником. А потом

\* Беспутый — бестолковый (обл.).

с голубовато-сизого хребта спустился к дороге сосняк да забелели у дороги матерые березы, по колям опутанные сочно-зеленым папоротником. А вот наконец и село Романовка, эдак повеличенное в честь трехсотлетия Царского дома Романовых, в память о грядущем святом страстотерпце, цесаревиче Николае, что в 1891 году путешествовал в здешних степях и лесах.

Подкатили к берегу Витима, вышли из пропыленного газика, ожидая паром; оглядели село, что разметалось избами по левому и правому берегу Витима. Горделивая радость разыграла в душе, когда Иван узрел на высоком становом берегу, среди золотистых сосен добротные и хоромные избы, окруженные поленницами дров, словно крепостными стенами.

\*\*\*

Вернулся Иван из Белокаменной к Божьему Сретению (15 февраля), когда зима с летом встретились и погода чудила: то сретенские морозы, то сретенские оттепели; а деревенские деды еще и сказывали: «Зима весну встречат, заморозить красну хочет, да от хочи лиходейку саму в пот кидат...» Словом, зима, дав на Сретение потачку теплу, дохнула наземь морозами вроде крещенских.

Махнув рукой на стужу, Иван рванул на заимку: зима на исходе, а дров кот наплакал; хотя в дровянике — две поленницы, посреди заснеженной ограды — штабель березовых и листвяжьих кряжей, укутанных снегом, но все чудилось: мало... В электричке краем уха услышал: две девчушки стрекочут по-сорочьи, и простенькая с виду кажется другой, форсистой, обнову — намедни купленный телефон; форсистая брезгливо морщит носик:

— Дрова... Для лохов китайцы в сарае спяпали...

«Ишь, дуреха, дровами телефон обозвала, а тьму веков люди дровам кланялись в ножки...» — Иван обиделся, уставился в окно, где грозно стучал колесами долгий состав, груженный строевым лесом, — уплывала тайга в Поднебесную, текли денежки в карманы толстопузых буржуев, а дурачью — телефончики да ноутбуки, прозванные «дровами». Косят остервеневшие лесорубы строевой сибирский лес, глядят задобренные лесники на грабеж сквозь пальцы, а простецов, что на лесных дачах норовят заготовить дров, так запугали, что те боятся трухлявую березу свалить. Ваят исподтишка, но... боятся.

Но вот и заимка, в ограде снег по колено, в избе красота — минус двадцать пять, на кухонной столешнице стакан в медном подстаканнике, с ложечкой, и мерцает чай — бери и пей, если бы не ледяной. Благо прихватил термос, где чай горячий, подслащенный и с лимоном; но чай уже не согревает стареющую кровь — мерзнут кончики пальцев на руках и ногах, отчего приходится выплясывать «подгорного мужика» с выходом из-за печи.

Приволок березовых поленьев, щепы и бересты на растопку, и скоро огонь озорно запел; а когда открыл дверцу, дабы подкинуть дров, зарницы поплыли по сумеречной кути. Жалко Ивану печь — страдалница: замороженная, скучает по хозяину, а тот прибежит, растопит, печка и не рада — после мороза хозяин ее так раскалит, что уж духовка, сваренная из толстого железа, трижды прогорала. Да и печной кирпич крошился, не вынося резких перепадов мороза и жары.

Ну, деваться некуда, Иван протопил печь и, впрягшись в сани, побрел в хребет; за три дня вывез последние кряжи; и вешним днем, громоздя посильные на козлы, к вечеру распилит. Любуясь чурочьей горой, гадал, как расколоть: то ли самому колуном махать, то ли звать поэта и певца Пашу Шапошникова, играющего колуном, словно казачьей шашкой.

А вечером, даже не набросив телогрейку, в кожаных монгольских тапках выбежал в ограду по дрова и тут же поскользнулся, со всего маха ухнул грудью на чурки. Да так сильно зашиб ребра, что при всяком вздохе и выдохе боль пронизывала грудь; а посему, промаявшись бессонную ночь, на сером, мутном рассвете побрел с хребта на электричку. В деревянной клинике на окраине города, где стонал и вопил раненый люд, просветили Иванову грудь и утешили: ребра целы, а боль схлынет; но семь дней мужик не мог толком дышать, не мог и курить — воистину, нет худа без добра, — отчего и бросил гибельную привычку. А ведь долго и беспрокло\* сражался с табаком, потом, измученный пагубной страстью, даже молился в храме преподобному Амвросию Оптинскому: «Преподобне отче Амвросие, ты, имея дерзновение пред Господом, умоли Великодаровитого Владыку подать мне скорую помощь в борьбе с нечистой страстью. Господи! Молитвами угодника Твоего, преподобного Амвросия, очисти мои уста, оцеломудри сердце и насыти его благоуханием Духа Твоего Святаго, да отбежит от мене далече злая табачная страсть туда, откуда пришла, — во чрево адово».

Похоже, благодаря молитве святому Амвросию Бог услышал Ивана, даровал спасение от пагубы; и после сего тот, счастливый, сулился заядлым курильщикам излечить от сей похоти и добавлял, что на заимке всякую зиму вырастает гора чурок и можно грохнуться грудью на чурки и... прощай табак. «Ежели чо, дак могу и подтолнуть...» — договаривал Иван по-деревенски.

Кроме спасения от табака, Иван в потешных застольях грозился исцелить и от ожирения — на заимке припасены снадобья: штык-лопата, лом, топор, пила-двуручка, сани, тачка и носилки.

Про исцеление от табачного срама Иван сочинил записку Владимиру Личутину, доброму приятелю и знаменитому писателю: «Владимир, жив-здоров ли я?.. Мужик в деревне прихворал... кого, вру — помирал, и Господь огнем из мужика грехи выжигал, но тот не знал,

\* Беспрокло — без толку, безрезультатно (обл.).

катанок сибирский. И вот мужик от боли зубами скрежещет, а спросили: “Но чо, Кузьма, как здоровье?..” — виновато улыбнулся: “Да грех, паря, жаловаться...” Тут к Богу и отошел... А меня, табакура, эдак Господь от табака отваживал: сперва по-староверчески уговаривал: “Бросай, паря, табак... Кто курит табак, тот хуже собак. Кто курит табак и пьет чай, спасенья не чай...” Однажды даже писатель Распутин с горьким вздохом подивился: “Так ты, Ваня, куришь?” Видит Господь, беспроклы уговоры, и если отец земной взял бы вожжи да разок ожег по хребтине, то Отец Небесный попустил, чтобы рухнул на чурки да и попрощался с табаком...»

Когда грудь отпустило, прибежал Иван на заимку и, радостно вдыхая морозный дух, поблагодарил чурки, расколол да в крытом дровянике выложил поленницы с такими бравыми клетками, что и отец бы залюбовался. Похвалил бы и козлы, что со второго захода смастерил на старинный манер: осиновый кряж с конусообразными запилами, куда наростопырку загнал четыре березовых ноги.

Сразу же помянулось далекое-далекое: родимая ограда, наряженная поленницей дров, и отец, уложивший колун на старую чурку с облезшей корой, сел на козлы и пристально оглядывает сына, который уже четыре зимы отбегал в школу. Отец пытается высмотреть сыновью судьбу: добрая ли вызреет или по родительским грехам горемычная... «Видимо, в отца я пошел, ежели увеселяю душу и таюсь от демонов на заготовке дров... — по писательской привычке эдак книжно подумал Иван. — А отец пошел в деда, забайкальского гурана».

В Забайкалье русские мужики и бабы, четыре века мешаясь с тамошними инородцами, обратились в гуранов\*: чернее головешки, коренасты и, подобно таежным козлам-гуранам, по-звериному чутки и выносливы, в тайге как в батиной избе, и сноровисты, а в сражении бесстрашны — худо-бедно Москву отстояли... Перед Байкалом же, по Лене и Ангаре, русские, веками роднясь с тунгусами, на обличку походили на гуранов, но звались чалдонами\*\*.

Да, я чалдон. Медведь таежный.  
И понимаю толк в дровах.  
Я рос на зелени подножной  
И спал с поленом в головах...\*\*\*

Эдакую песнь песней дровам пропел красноярский стихотворец Александр Щербаков; а Иван, хотя не чалдон и не причалил с Дона к диким енисейским берегам, хотя и малорослый гуран, в отличие

\* Гураны — народность в Забайкалье, образовавшаяся в результате смешанных браков русских с бурятами, эвенками, монголами, даурами, маньчжурами. По преданию, мужики-гураны, выходя на охоту, надевали на голову шапки с рогами косуль, для того чтобы животные принимали их за своих.

\*\* Чалдоны — результат браков с тунгусами насельников берегов Енисея, Ангары и Лены, якобы причаливших с Дона во времена Ермака и сибирских казаков-первопроходцев.

\*\*\* Из стихотворения А. Щербакова «Чалдон».

от медвежалого Щербакова, но в жарких листвяжких дровах толк ведал. И до сипоты, до хрипоты спорил с Щербаковым, когда чалдон, прочитав Иванов сказ о дровах, вроде бы уличил сочинителя в благонамеренном вранье:

— Насчет того, что топили печи листвяничными дровами, ты, брат, слегка приврал... Лиственница — дерево редкое, а посему дрова — обычно береза, сосна и осина.

С горем пополам забайкальский гуран доказал енисейскому чалдону, что село, в коем родился и вырос, окружала сплошная лиственничная тайга, где изредка белели березы, изредка желтели сосны да зеленели елки. Эх, чалдон, чалдонище, славно пели про вас девки:

Золото мое колечко,  
Хуже оловянного.  
Надоели мне чалдоны  
Хуже окаянного.

А с поленом в головах спал дед Ивана по материнской ветви, и любимая тетка, перекрестясь во упокой души усопшего, поминала: «Тятя, как ему за сто перевалило, чудить стал. Сбегал в лес по грибы, а грибы давно уж отошли, дак на ночь полено под голову, а ноги на подушку: мол, дурная голова ногам покоя не дала. Так и спал: голова на полене, ноги на подушке...»

Но вернемся на лесную заимку. С отрадой и умилением полюбовался белесыми и багровыми поленьями, подпирающими крышу дровяника, и, спасаясь от сретенских морозов, внес в избу беремя сухих дров; уложил на бересту и лучины, чиркнул спичкой и, замороженно глядя на игривый огонек, ласково лижущий бересту и щепу, с горестным вздохом пожалел ямщика: не отыскавши дров для костра, замерзал, горемыка, в глухой волчьей степи. Помянув ямщика, прочел, выюжно завывая, родимый стих:

Буря мглою небо кроет,  
Вихри снежные крутя;  
То, как зверь, она завоет,  
То заплачет, как дитя...

Выпьем, добрая подружка  
Бедной юности моей,  
Выпьем с горя; где же кружка?  
Сердцу будет веселей...\*

Выпить не грех, ежели не упиваться, яко винопивцы ненажорные, ибо пьяному в стельку море по колено и смертные грехи в радость, особо блуд; но отраднее повеселить сердце не кружкой, а молитвой

\* А. С. Пушкин «Зимний вечер».

и дровосечным промыслом; хотя, конечно, охота с горя выпить, да вот беда-бедушка — обманное веселье с питья хмельного: потеплеет за-леденелое сердце, томно очаруется разум, и вроде утопил горе во хмелю — скрутил лихо, увязал на его синюшную шею каменную булыгу да и кинул в омут; а после — блудное веселье и тяжкое забытье. Но утром — с гульбы обычно серым и ненастным — похмельная кручина, горше трезвой, так стиснет иссохшую, измаянную душу, что хоть глаза завяжи да в омут бежи. Ели, пили, веселились, а наутро прослезилась; либо как в песне переиначенной: «А поутру они проснулись, кругом помятая братва...»

В горе — а лихо по грехам — лишь покаянная молитва ублажит и спасет душу: «...сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничтожит...» — а работа до пота, в радость и охоту, укротит страсти, палящие душу. Какие страсти на внешней пахоте, на севе, жатве и покосе, на плотницкой страде, на дровосеке?! Разве что трудовые...

Прочтя вечерние молитвы, уместился Иван на лежбище под святыми образами, попрощался с зимой и азартной заготовкой дров, но и во сне причудливо виделись дрова, без коих и святому, и грешнику шагу не ступить, даже переправившись на утлой лодчонке через буйную реку жизни.

А перед сном, и смех и грех, вспомнил историю, что случилась в его селе. Вечно пьяненький, бичеватый мужичок Кузя, прозванный «ночным врачом», дежурил в больничном морге и однажды суровой зимой выскок по нужде, заодно и дров прихватить да слегка печь подтопить, дабы покойники не оледенели; а тут пьяный дружок ввалился в морг и, коль хозяина не узрел, то и прилег на пустую лавку, что угодила на пьяные глаза. Кузя вернулся с дровами, затопил печь, глянул в комнатешку, где два мужика и баба ждали упокоения в сырой земле, — и вдруг покойничек встал, а Кузя в обморок упал... Слава богу, одыбал, но из морга перешел в больничную кочегарку.

А сон же Ивану выпал мрачный... Снилось веревочная лестница в голубые небеса, куда карабкался; но вдруг налетел черный ворон, затмив голубизну широкими крылами, ухватил Ивана в цепкие когти и, обмершего от страха, понес в кромешную тьму. «За что?» — вопрошал Иван неведомо кого, незримого в лихорадочном мраке, а неведомо кто, раскатисто смеясь, отвечал: «А за то, что в душе твоей и поныне лишь грешные помыслы».

Очнулся Иван в зимней тайге, на широкой поляне, где полыхал костер, а мужички, вроде леших с рогами, подбрасывали в огонь жаркие листьяшки дрова, и огненные языки зловеще лизали закопченный котел, откуда неслись душераздирающие стоны, дикие вопли и скрежет зубовый...

Среди ночи Иван проснулся в холодном поту — сердце, словно пичуга в силках, испуганно и заполошно билось в груди, и пал грешник на колени перед образами, и, обливаясь слезами, возопил:

— Боже, милостив буди мне, грешному!..

Долгие слезные молитвы утихомирили, а коли сон изломан, решил подтопить печь и пошел за дровами.

## Русские думы и дрова

Запасая дрова на лесных заимках, Иван справлялся без пособников, ибо трудно зазвать приятелей на дачу, если заподозрят, что манит не столь бражничать, сколь пособить. Теперь уж иных не зовет — не пахари, с посошками бродят, жалобно шаркая подошвами и покаянно взирая в небеса. Но и в добром здравии тоже, бывало, не упростишь; однажды сулился старинный дружок, да все беспрокло; а повинил Иван — тот ловко отбрехался.

— Ждал тебя, Егорша, в четверг. Думал, подсобишь... Сулился же, божился! Пошто не приехал?

У Егорки на всё отговорки:

— Дак это, паря, тово, понос одолел...

— А в субботу обещал?

— А в субботу, паря, тово, золотуха...

— Ясно, что дело тёмно: то понос, то золотуха...

Звал Иван и другого давнишнего дружка, тот задумчиво чесал затылок, скреб дремучую бороду, потом, хитровато прижмурившись, виновато улыбнувшись, то ли спросил, то ли заверил:

— Припашешь же, Ваня?!

Утешил:

— Шибко-то, Фома, не припашу. Сороки, воровки, облепиху клюют, так облачился бы пострашней и в кустах постоял, руками помахал...

— Заместо чучела?

— Чучела, не чучела, но работенка же не бей лежачего — руками махать. Непыльная. А с меня магарыч.

— Магарыч?

— Ну, поляна, угощение...

Смех смехом, а припахал бы. Бог не дал Ивану сынов, работающих зятьев, и, что греха таить, не имея пособников, Иван, случалось, тайгой и баней заманивал друзей на дачу — на старую, в байкальском селе Култук, и новую, у полустанка Листвяничного, что поблизости от реки Олхи. И до вечернего застолья либо утром ласково пытался гостей «припахать»: сильных, сноровистых — ветхую стайку ломать, малахольных — ржавые гвозди выправлять, тихих семейных — ягоду брать: вишню, смородину, малину, облепиху; но чаще уводил гостей в лес, что в Култуке — сразу за частоколом, а в Березовом садоводстве — за сеткой-рабицей. И душе отрада, и подворью добро: надышались хвойным духом, полюбовались тайгой и лесными еланями в цветущих жарках или голубоватых снегах, а на обратном пути спустили к избушке сухостоины на дрова или осиновые жерди на заборные прясла. Дико Ивану, сельскому жителю, шататься



в лесу без заделья; к сему приваживал и гостей, даже и приятелей-писателей. С мужика — сухостоина либо жердина, а коли с женой либо невестой — два хлыста; сунул башку в семейный хомут или п्याлишь хомут на выю — и за богоданную трудись, не ленись.

Благодарно поминая друзей, кои без насилия, по доброй воле подсобляли пилить и колоть дрова, Иван вспоминал и вечерние застолья с песнями и плясками, с жаркой словесной бранью, ибо кручина одолевала, лишь подумаешь о горькой судьбинушке родного люда. И в прошлые века баре да разночинцы, сойдясь в хлебосольном доме, судили-рядили о народной доле и воле, враждебно межусь на славянофилов и западников. Однажды промозглым невским ветром занесло Достоевского в некий петербургский салон, где дамы и господа, вкусив бургундского вина, с полудня и до позднего вечера спорили о смысле человеческого житья-бытья и о спасении души. В сумерках кухонный мужик принес охапку дров, нащипал лучины для растопки, зажег камин, и Достоевский, угрюмо сидевший в углу, вдруг воскликнул, указав на истопника: дескать, идите к сему мужику, внимайте мужику, лишь куфельный\* мужик и ведаёт смысл жизни. Дамы и господа сконфузились, а чтущие западных мыслителей насмешливо скривились, словно отведали кислицы с куста; и в скоморошеском обличье пошла шататься по салонам идея «куфельного мужика», якобы приглашенная безумцем.

\*\*\*

Ночью и утром валил снег, да столь щедро, что к полудню дачный сад утопал в белых сугробах; сиротливо топорщились вершки смородины, вишни, жимолости и крыжовника, а ветви малины, согнутые в дугу, и вовсе сгнули в снегу; лишь высились над снежными дюнами кусты облепихи и ярко светились оранжево-алые ягоды — облепили ветки рыжие детки, и чудом не склевали облепиху лесные птицы. Снегопад, похоже, зарядил надолго — тоскливая мгла заволокла дачное поселье; помутнел и смерк белый свет. Но в снегопад дремлют крещенские морозы, теща стариков и старух, ветхую плоть которых вяло греет усталая кровь. Впрочем, к полудню разыгрался ветер, и колючий снег полетел над землей; и метель взвыла, а в степи, поди, уж буран бушует.

Но лишь в непогожье ощутим ласковый уют в тепло натопленной избушке, где Иван Краснобаев да Ярослав Анисимов хлебали чай, хвалили печь и жаркие дрова, судили-рядили о крестьянском роде и родном народе, костерили фармазонов, что нынче, на исходе усталого века, воцарились на Руси.

Растекаясь мыслью по древу, утопая в щедром глаголании, мужики забыли, что наладились в хребет по дрова, и славно чаевали подле ласковой печи, ублажаясь казенными шаньгами. Сквозь заснеженное окошко

\* Куфельный — кухонный, служащий при кухне (устар.).

вопрошающе косились на поляну перед мелколесьем, где по-волчьи выла метель, летел косой снег, мела поземка, вихрясь в порывах ветра. Сдурела метель — даже в усадьбе взыграла, словно за околицей ведьмы свадьбу справляли; но бодрились приятели: мети метель, нам, мужикам, не боязно, мы в опрятной, теплой избе — печка пышет сухим жаром, — мы пьем чай и в ус не дуем, нам даже отраднo любоваться метелью из тепла и напевать: «Вьюга смешала землю с небом...»\*

Но сиди не сиди, доброй погоды не высидишь, пора и дровец напилить — за зиму иссякла поленица, улетела в обжорное печное чрево, да и не худо бы поразмяться, чтобы и среди городских удобств плоть помнила не поросшую травой-дурниной, былую отраду сельского труда. А что лютует ветер-снеговей, то не беда: у природы нет худой погоды. Словом, приятели, перекрестясь, помолясь, положась на волю Божию, выпали из угревного жилья на ветер и снег, который пуще и гуще замесился — не видно ни зги, и дровосеки лишь чудом угадывали тропу среди заснеженного березняка и осинника, среди дородных сосен, что с обманчивым теплом светились в сумеречной роще.

Есть горделивая услада: набывчившись, подражая сибирским первопроходцам, настырно брести сквозь метель, подставляя лицо колючему снежному ветру, палящему нос и щеки, вышибающему обильные слезы. Впрочем, в лесу потише, ветер не сшибает с ног; а посему дровосеки взбодрились, повеселели. Долго ли, коротко ли, но, волоча двое саней, облепленных снегом, запыхавшись, выбрели на опушку, где Иван загодя пометил три березы, после низового пожара почерневшие с комля, сохнувшие на корню.

Коль бензопила-привереда отказалась пилить, пришлось, веселя души древним дровосечным ремеслом, валить и кряжевать березы пилой «Дружба-2»\*\*, в народе весело прозванной «тяни-толкай». Накатав тропу, приятели спустили в усадьбу дюжину кряжей, и, хотя Иван уговаривал заночевать, Ярослав рванул на позднюю электричку — в молодом рабочем городке Шелехово барышня ждала кавалера.

В юные лета, покинув байкальское село, Ярослав пахал в горячем чугунолитейном цехе; потом, заочно обучившись, осел в Шелеховской заводской газете и, увы, случилось, впадал в недельные запои, а посему, настрадавшись, жена бросила запойного мужика. После развода осталась в квартире с двумя погодками, что учились в старших классах, а Ярослав ютился в заводской общаге, но лет через десять вернулся в былое жилье, ибо старший сын, солдат срочной службы, погиб в Чечне, малой, выучившись на геолога, махнул на Крайний Север, а бывшая супруга, выйдя за вдовца, вселилась в его каменные хоромы. В те лета Ярослав, смолоду богомольный, во избавление от пьяного беса усердно молился и святому Иоанну Кронштадтскому, и святителю Вонифатию Милостивому,

\* Некогда популярная «Песня о любви» на стихи Л. Ошанина и музыку А. Островского.

\*\* «Дружба-2» — двуручная поперечная пила.

и преподобному Моисею Муруну, и пред иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»; и одолел молитвенник беса, изверг из души.

Долго не виделись старинные приятели — и столкнулись на отшибе села Посольское, где на высоком байкальском берегу бело и величаво красуется церквями Спасо-Преображенский мужской монастырь, где под сенью могучей крепостной стены — часовня в скорбную память о погибших русских послых, что при царе Алексее Михайловиче пробирались с дарами к мунгальскому Цысану-хану. Царский посланник Ерофей Заболоцкий и его сын Кирилл, а также подьячий Чаплин, казаки Василий Бессонов, Терентий Соснин, Афанасий Сергеев, Яков Скороходов и промышленный мужик Сергей Михайлов переплавились на дощанике через Байкал, вышли на студёный осенний берег. До костей промерзшие на лютном октябрьском ветру, послы нарубили дров, благо в кедровом бору изрядно сушняка, развели костер, абы согреться, и тут из тайги вылетела стая бешеных собак — брацких\* людей, побила и ограбила русских, не успевших схватить сабли и ружья. С тех скорбных лет байкальский берег, освященный праведной русской кровью, украшенный монастырскими куполами и крестами, в память о погибших послых величается Посольским, а над прахом коварно убиенных могильные кресты золотятся на байкальских зорях.

Иван седмицу послушничал во святой обители, читая и правя сочинение здешнего наместника, архимандрита Николая; и однажды, гуляя по обители, увидел возле горы сосновых чурок Ярослава; приятель колот дрова, играючи ладным колуном. Обнялись, расцеловались, и дальше уже кололи вдвоем, выстроив чудную поленницу дров в виде церкви с шатровым куполом. Из монастырских послушников Ярослав пытался с Божьей подмогой возрасти духом до монашеского пострига, до ангельского чина, но, увы, наместник не благословил, и приятель вернулся в мир, словно приземлился, покружив под небесами на ангельских крыльях. При боголюбивом отречении от дольного мира ради мира горнего Ярослав мог взойти во святые юроды, но, увы, любил мужик и дольный мир, который его не жаловал.

Жил бобыль бобылем, да вдруг на закате лет по уши влюбился, словно безусый юнец, что бреется мокрым полотенцем. Даже исподтишка стихи кропал — литератор же — и, смущаясь, краснея от счастья, хвалился подругой, казал цветную карточку, утаенную в нагрудном кармане, греющую душу. Карточка жила в потертом рыжем бумажнике и после бракосочетания и венчания в храме. Иван каялся: обидел Ярослава, с ироничной улыбкой читая с листа его любовную лирику, напоминающую ходовой стишок: «Ветка сирени упала на грудь, милая (Галя, Валя, Оля, Поля...), меня не забудь...»

Однажды приятель ночевал на заимке; а Иван, жалея дрова (скупердяй же), на ночь худо протопил печь; изба после полуночи выстудилась,

\* Браты, или брацкие люди (брацкие мунгалы), — обычное наименование бурят в исторических документах XVII—XVIII веков.

и утром хозяин покаялся в скупости, но Ярослав успокоил: приснилась возлюбленная, вот, обнимаючи, и согрелся. Из приятельских уст эдакое звучало чужеродно, ибо, в отличие от богемных деятелей искусств, не токмо грешащих, но и восхваляющих, воспевающих блуд, величая похоть «любовью», Ярослав, по-христиански целомудренный, сроду не страдал любовстрастием. А посему и любовное чувство мужика вызрело отрочески светлым и завершилось Божиим венцом, коли паспорта увенчались печатями.

Не маяли мужика и прочие смертные грехи, вроде гордыни, зависти, алчности, да и винцом уже губы не пачкал, вопреки отчаянному выводу: мол, нет молодца, чтоб одолел винца. Гневался, правда, но вроде праведно — против супостатов.

\*\*\*

Потом Ярослав прибежал на закате марта, когда снег опал и на солнопеках в голом сосновом бору обнажилась белесая ветошь прошлогодней травы. Иван встретил приятеля на полустанке Листвяничный, и от перрона шли по шпалам короткого пути, запасного ли, брошенного ли, глубоко вросшего в землю, отчего рельсы едва угадывались. Во времена запойного и разбойного правителя сей путь, где не гремели поезда, обнищавший народ обозвал «ельцинским» — Ельцин же грозился: мол, ежели цены на хлеб, молоко и мясо повысятся, лягу на рельсы. А цены так подскочили, что нищее простолюдые ходило в лавку, словно в музей, где экспонаты нельзя трогать руками; и ждало простолюдые: должен же лечь на рельсы, коли сулился. Или как в присказке: во хмелю что хошь намелю, а проснусь — отопрусь? И лег бы, с него, дурного и вечно хмельного, стало бы, но... лишь на брошенные рельсы, где давно уже отшумели поезда.

Про сей «ельцинский» путь Иван и поведал Ярославу, и тот, горячий, обозвал правителя иудой, что за тридцать сребреников проданся америкосам и служил им, пьяный либо с похмелья восседая на русском троне. Речь Ярослава страдала откровенной митинговщиной; вот Иван и сманил приятеля на заимку, чтобы потолковать: накануне черкал и кромсал его очерк, где, восславив черносотенство, друг во всех российских бедах митингово, запальчиво повинил еврейских большевиков, ухитивших власть в кровавой русской смуте. Ярослав хлестко озаглавил сочинение: «Черносотенцы и бесы».

Иван готовил очерк в церковно-приходской альманах «Иркутское обозрение» (в народе — «Иркутское оборзение»), где служил исполнительным редактором, а главным — протоиерей Михаил Громов. Ярослав, почитая за великую честь засветиться в православном альманахе, о ту пору уже хваленном в губернии и столице, терпеливо сносил Иванову правку, лишь зауживались чалдоньи глаза да желваки сурово набухали на костистых скулах. Обильно править, лихо сокращать пришлось, ибо очерк, начиненный гремучей смесью враждующих стилей, лишь чудом

не взрывался: выдержки из святых отцов, богословов и русских мыслителей переплетались с митинговой речью рабочих маевков.

Столь ярко и жарко светилась в его душе любовь к родному русскому народу, столь яростная клокотала ненависть к врагам, что речь Ярославла, утратив даже дольную мудрость, не говоря уж о горней, обращалась в базарную брань и добела раскалялась. Слушать подобное — что пить обжигающий чай, а посему Ивану хотелось остудить речь, хотя опять же Пушкин завещал: «Глаголом жги сердца людей». Вперив ярое око в воображенных врагов русского люда, в их гнусные хари, увенчанные рожками, Ярослав бранным слогом поражал супостатов, яко святой Егорий Храбрый пронзил копием змия, пожирающего людей. Что уж говорить про Ярослава, коли сам Николай Чудотворец, яростно споря с собакой Арием, в пылу обличения и пламеневший ревностью ко Господу, заушил еретика, за что горячего епископа лишили святительского омофора и посадили в зарешеченное узилище\*. Даже и за то, что дал в ухо лжецу, святого угодника и возлюбил русские мужики вроде Ярослава, который в ранней молодости за рукоприкладство угодил на пару лет за решетку.

По натуре крестьянин и Христов ратоборец, коренастый, ладно скроенный, крепко сшитый, косая сажень в плечах, Ярослав Анисимов чужеродно выглядел на филфаке, где испокон веку паслись девчата да маляхольные очкастые ребята. Хотя Иван, тоже выходец с филфака, вспоминал: случалось, залетали на факультет и эдакие бугаи, коим бы не книжки читать, а земелюшку пахать, не стихи учить, а быкам хвосты крутить.

Верно молвлено: на Руси не все караси — плавают и ерши. В обличительной ярости Ярослав не ведал чуру\*\* и, черпая из мутных источников, ввел в очерк сомнительные высказывания Льва Троцкого.

Слово за слово, приятели крепко сцепились, ибо один — задериха, другой — неспустиха. Осадившись на «ельцинских» рельсах, до хрипоты и сипоты спорили; орали друг другу, словно глухой глухому, размахивая руками; и если бы тихий мужичок либо тихая баба увидели, то испуганно глядя, покрутили бы пальцем у виска: мол, чокнулись мужики; а шутники бы посетовали: что за шум, а драки нету? Могли бы наворожить, накаркать, и здесь не грех трижды плюнуть через левое плечо, где анчутка\*\*\* беспятый незримо торчит и ворчит, а потом перекреститься: слава богу, до драки споры не дошли.

Спорили о революции и гражданской войне; Ярослав с пеной у рта, брызжа слюной, твердил и твердил: дескать, евреи, после революции оседлав русский престол, с наемными карателями истребляли русский народ, крушили православную веру вместе с храмами. Иван перечил: да, истребляли, крушили — но русскими умами и русскими руками, ибо народ пал, обезбожился, вскинул руку на Бога и царя, помазанника Божия.

\* По преданию, на Первом Вселенском соборе святой Николай, боговдохновенный ревностью о Господе, не стерпев арианского богохульства, ударил еретика по щеке (заушил). Собор почел дерзким сие заушение, и Николая, лишив архиерейского сана, заключили в тюрьму.

\*\* Не знать (не ведать) чуру — не знать меры, не соблюдать правил (*устар. суб.*).

\*\*\* Анчутка — распространенное название нечистой силы (бесов).

Не смогла бы завоевать многомиллионный русский народ жалкая свора еврейских большевиков с латышами да мадярами.

Ярослав оторопел, обернулся к Ивану, вроде сжимая кулаки, и, что таить, приятель оробел: вот она — гражданская война, сейчас кинется... под поезд бы не толкнул... смалу отчаянный, по юности наглому начальнику прилюдно в ухо дал и за драку пару лет зону топтал.

Развернулся Ярослав на полустанок Листвяничный, а у Ивана ум на-раскоряку, как вернуть приятеля; но спохватился, вспомнил деревенское: «кто много спорит, тот ничо не стоит» — и пошел на попятный; и не потому, что лишался пособника на заготовке дров, а потому, что со светлой завистью любил ясную русскую душу Ярослава.

— Может, Слава, ты и прав. Прости, брат...

Постепенно приятели остыли, потом помирились и дружно потопали в гору. В избушке подтопили печь, и коль Ярослав свою бочку по молодости выпил, а ныне сивуху на дух не переносил, то приятели заварили густой чай с мятой, чабрецом и смородишным листом. Позже подбежал дачный сосед Коля, прозванный Таёгой\*, и три дровосека, впрягшись в трое саней, полезли в хребет, где Иван, по обычаю, загодя приглядел добрые сушины.

По-вешнему голубело небо, солнышко припекало, снег искрился, таял, яко воск от лица огня, пахло сопревшими, лоняшными\*\* травами, оттаявшей хвоей; и в душах, даже и остарелых, усталых, играло мартовское солнышко, искрился снег, залиvisto пела веселая птица-веснянка.

Выбрали мужики листвяк, что уже скопился, готовый со дня на день рухнуть, завел Иван бензопилу, и лишь цепь въелась в древо, как ухнула снежная кухта — и мужики оторопели, похожие на белые привидения, на снежных людей. Потом Иван кряжевал листвяк, а напарники обрубали сучки; и когда Ярослав, сучкоруб, ловко сек топором листвяжьби ветви, Иван любовался молодцеватой статью, словно и не закатный мужик подсоблял ему, а сельский паренек в вешнем соку, в играющей силе.

И разве мог Иван вообразить, что вскоре, с оказией передав альманах, где явился на белый свет очерк Ярослава Анисимова «Черносотенцы и бесы», увидит сочинителя на смертном одре, сухого и желтого, в окружении родичей. Правда, Ярослав повинился:

— Уж прости, брат, нынче без меня дрова заготовливай...

— Не, паря, без тебя не обойдусь, поправляйся.

Приятель вяло улыбнулся. Навидался Иван смертей на веку, як на волоку: ушли родители, четыре единокровных брата и две сестры, бесчисленные родичи, сослуживцы, приятели — писатели и художники; доводилось и сидеть в ногах у доживающих остатние, скорбные дни; сидеть на краешке постели, сутулясь, виновато и скорбно отводя взгляд от иссохших, восковых лиц; доводилось и слышать обреченные прощальные слова, не ведая, как и откликнуться.

\* Таёга — матерый таежник в прибайкальской тайге.

\*\* Лоняшний — прошлогодний.



Прятели говорили об альманахе, где, на радость Ярослава, вышла первая часть его очерка «Черносотенцы и бесы», а беседуя, не поминали пустоглазую с косою, что постаивала у изголовья друга; тот еще надеялся выкарабкаться, хотя, с отрочества храбрый, воистину воин Христов, смерти, похоже, не боялся, в полную душу покаявшись в грехах.

На могилку водрузили скальный валун с эпитафией, загодя Ярославом сочиненной: «Под сим байкальским камнем покоится прах Ярослава Ивановича Анисимова, многогрешного раба Божия, что спасался любовью к родному русскому народу. Братья и сестры, молитесь Бога о спасении души раба Божия Ярослава».

Поминая приятеля, тихо умиравшего, Иван видел Серафиму Ивановну, запоздало возлюбленную, слышал гаснущий голос Надежды, очерк которой давно уже кис в портфеле «Иркутского обозрения»; и, помнится, чудом вызвонил, бодро поздоровался и, хотя слышал, тяжело больна, все же весело спросил:

— Жива-здорова, Надя?..

В ответ услышал:

— Умираю я, Ваня...

Как не ведал Иван, чем утешить уходящего Ярослава, так же не ведал, что сказать Наде; но сдуру, впопыхах ляпнул:

— Не спеши, поправишься — сразу позвони...

И с той поры Иван негасимо слышал голос, далекий-далекий, словно уже с небес: «Умираю я, Ваня...»

А вскоре позвонил старенький сельский писатель, с коим в Култуке совместно запасались дровами:

— Ваня, я крепко залег. В хосписе лежу, отсюда уже не выходят. Богу душу предаю. А думал, поживу, взял машину дров на зиму...

Но в сем случае Иван обрел дар речи и, словно приходской поп, властно советовал исповедаться, причаститься Святых Даров, собороваться и, пав на колени, покаянно молиться, стуча лбом в половицы.

Ярослав и без Ивановых наказов исповедался, причастился, потом соборовался — легче грешной душе взбираться по лестнице мытарств, когда налетят чернокрылые бесы, дабы унести душу в ад кромешный, где огонь неугасимый и червь неусыпный, где плач и скрежет зубовный. Но до сего ангел-хранитель да иные белокрылые ангелы Божии обороняли покаянную душу раба Божия Ярослава и, вероятно, оборонили, и упокоилась душа в райском блаженстве.

## Друзья и дрова

С радостной любовью вспоминал Иван товарищей, вроде Ярослава Анисимова, что посещали лесную дачу и зимними вечерами в братчинном пиру веселили его тоскующую душу русской песней, жаркой беседой, а до застолья, абы размяться, пособляли валить, кряжевать, спускать с хребта сухостой, колоть чурки на дрова.



Однажды зимой пригласил Иван на заимку доброго приятеля Пашу Шапошникова, музыканта, стихотворца, и Паша радостно спросил:

— С гитарой или саксофоном?

— С колуном, Паша. Дрова колоть. Шучу, брат. Приезжай с гитарой, саксофон уже слушали.

Беда от саксофона. Помнится, однажды в сумерках спустили с хребта последний кряж, Петр Алексеевич Романов, кашевар, сварил омулевую уху; и дровосеки, отведав красного вина, закусив, слушали Пашин саксофон. А коль горница тесна и низка, а саксофонист неистов, то слушатели оглохли и дивились: чудом изба выстояла, когда звуки, истошные и пронзительные, словно дикие вопли кедровки в ночной таежной тиши, впивались в брусовой сруб, выдавливали окошки.

— Нет, Паша, лучше гитару бери. Нынче на видео запишу, как ты играешь и поешь. Петр Алексеевич приедет, Таёга подбежит, сосед мой...

И в тот февральский день Иван и Петр Алексеевич, отставной подполковник милиции, прилегли вздремнуть, ибо после сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать; а Паша, скинув Иванову телогрейку, напевая и насвистывая, к вечеру переколол гору крученых-верченых, суковатых сосновых чурок.

Иван дивился, глядя, как моложавый мужик, вроде вечный юноша, погрузив на сани два, а то и три кряжа, толкал сани по накатанной тропе, и когда сани, скользя с крутого хребта, разгонялись, падал на кряжи, летел вниз, громогласно и восторженно вопя. Но вскоре сани сбивались с тропы, врезались в сугроб, Паша нырял в снег и, утирая мокрое лицо, пуще ликовал среди сугробов, что в оттепельные дни завораживали взор, слепяще искрились под небесной синевой.

Вот так же шутя, любя, играючи Паша колот чурки, и гора поленьев росла на глазах. А уж смеркалось, и блеклое небо укрылось густой синевой, и уж Иван просом просил:

— Бросай, Паша, колун! Завтра поутру доколешь. Пошли, Петр Алексеич зовет на ужин. Баранина остынет...

Но Паша, упорный и азартный мужик, угомонился лишь тогда, когда расколол последнюю чурку.

Петр Алексеевич сгношил ужин — чугунный котел тушеной баранины с картошкой, и подбежал Иванов сосед Коля Таёга. Бакшеев Коля, крепкий мужик, изрядно сменил профессий на трудовом веку и перед пенсией крутил баранку в пожарной части. Выйдя на заслуженный отдых, лет десять зиму и лето обитал на лесной заимке, поскольку с городской женой, увы, жили словно кошка с собакой, и кто прав, кто виноват, лишь Богу ведомо. Таёга, хотя и корявенькую, но своеручно срубил избу с летней мансардой, потом и баньку из осинового леса, похожую на таежную зимовьюху; и хотя годы ползли к восьмидесяти, шустро бегал по хребту на широких охотничьих лыжах, подбитых изюбриной шкурой. Летом Таёга добывал черемшу, жимолость, чернику, бруснику, а зимой пилил

дрова и вечерами вырезал из осины таежных зверей, причудливых зверушек и пичужек, леших и кикимор, домовушек и баннушек, ёкарных бабев и ёшкиных котов.

А познакомился Иван с Колей забавно. По натуре Таёга — мужик братчинный, а посему, махнув рукой на запущенный сад и огород, вечно шатался по заимке, пособляя друзьям заготовить дров и застольничая. А когда Иван прикупил избушку, кою потом перестроил и достроил, Таёга тут же прибежал знакомиться. Поинтересовался:

— И откуда ты родом?

— Забайкальский я, паря. Из Бурятии.

Таёга повеселел:

— Да? И я, паря, из Бурятии! А ты из какого аймака?

— Из Еравны, село Сосново-Озёрское.

Таёга выпучил восторженные глаза, словно узрел чудо:

— Ого, за тыщу верст земляка встретил! Я же, паря, из соседнего села, из Романовки. Верховье Витима. Слышал?

— Кого «слышал»?! Сто раз гостил в Романовке у племяша! Красивое село, кругом тайга.

— Дак я, паря, с пеленок из тайги не вылазил. Мы же, Ванюха, гураны — помесь русских с бурятами, эвенками. А те, паря, охотники фартовые.

— Романовка... Красивое село. Я-то вырос в степном селе, а Романовка таежная. Помню, ехали на газике, кругом степь, а к Витиму выбежали — тайга. В Романовке левый берег низкий, березнячок да осинничек, а правый становой берег высокий, и сплошной сосняк. А дома добротные, а возле домов сплошные поленницы дров...

— Да, паря, на Витиме тайга богатая, из окошка глухарей стрелял, а за околлицей зверя брал. Помню, шестую зиму в школу бегал, и под весну пилили с отцом дрова, и вдруг...

Витимский таежник поведал случай, как попутно с дровами завалили сохатого, и в будущем Иван услышал от Коли — Таёга же — дюжины охотничьих случаев, как зверовал в северной тайге, особо на таежной метеостанции, где посчастливилось верно служить и азартно жить с молодой женой.

И вот, когда Паша расколол остатнюю чурку, а Петр Алексеевич, кашевар, сварганил жаркое, да столь вкусное — за уши не оттащишь, когда подбежал Таёга — и затеялся дружеский пир с песнями до сипоты и плясками до упаду. Впрочем, Иван и Таёга не пели, ибо икун — не говорун, емануха — не певица, а плясали, лишь топая чоботами; а Петр Алексеевич Романов старательно плясал, хотя, бывший тверской тракторист, потом знатный сибирский сыщик, вышедший в отставку с погонами подполковника, страдал подагрой и по сему поводу говаривал: «Фамилия царская, болезнь дворянская, рода крестьянская».

Итак, Паша наяривал на гитаре «Подгорную», а Петр Алексеевич, полный тезка Петра Великого, но, в отличие от дылды царя, коренастый,

круглый и шустрый, степенно плясал, но потом сморился и, выпивая, закусывая, поведал тьму историй, как брал усть-илимских варнаков голыми руками.

— Помню, в Едучанке — поселок усть-илимский — жил на поселении бывший эк. Для поселка дрова заготавливал, а варнак варнаком, раз пять лагерные нары протирал. И помню, бахвалился, зараза: «Бывало, говорит, черная тоска накатит, пойдешь, зарежешь кого-нибудь — и вроде легче...» Языком трепал, сука лагерная, а ведь зарезал! И убежал в тайгу, где я с операми и брал эчару...

Поведав про варнака, подполковник Петр Алексеевич Романов, который нынче с ватажниками пилил сухостой в хребте, вдруг узрел родимое тверское село:

— Пять зим в школу отбегал, отца схоронили — пришел с фронта раненый, контуженый, — и остался я у матери за мужика. А мне всего двенадцать лет... Помню, осенние каникулы, одноручку-пилу, топор за кушак и — по дрова. Глубоко в лес не полезешь — снег выше колена, пилил с краю, где березы суковатые, это в густом березняке — свечки. Да и мерзлые березы, пила скачет, не вгрызается. Семь потов прольешь, пока свалишь... К вечеру гляжу, вроде на конные сани хватит, и таскаю кряжи в штабель, поближе к дороге. А уж на зимние каникулы запрягут колхозные мужики лошаденку в сани, вот я в лес по дрова. И сам бы запряг, да мал ростом, хомут супонью не могу затянуть — надо же ногой в хомут упираться. Ну а в лесу кряжи заваливаю в сани, затягиваю веревкой — и в село. А боюсь, не дай бог хомут рассупонится по дороге, мне же супонь-то не затянуть. И что делать? В деревню топать верст пять, мужика звать?.. Но, слава богу, мужики туго затягивали супонь, и потихоньку довозил кряжи до избы. А весь перемерзнешь, оголодаешь... И на весенние каникулы с матерью пилили кряжи, потом тюкал топором суковатые чурки, а уж поленья складывал в дровяник. Вот так и проходили мои школьные каникулы...

Петр Алексеевич, помянув сельское детство и дрова, сел на любимого конька и подробно поведал, как его отец в тверской деревушке не дурака валял, но — валенки в бане, загодя припасши овечью шерсть. Но и здесь дело не обошлось без дров:

— Отец заготавливал дрова для школы и клуба, а по вечерам валял валенки всей деревне. — Коль Иван уже слышал долгую историю об отцовском ремесле, то Петр Алексеевич заводил долгое повествование для Паши и Коли. — Он был каталем. Мастер был искусный, со всей округи приезжали за валенками. У нас овцы были «романовской» породы. В Сибири овцы длинношерстные, поэтому на заводах, где войлочное производство, использовали шерсть не тонкорунную, а груборунную. Овец обычно стригли по осени, вручную. Всю шерсть, которую состригли, нужно было разбить, чтобы легче прясть. У добротных хозяев водились специальные шерстобитные станки. Шерсть начинает скручиваться, слепливаться друг с другом и превращается в единое

полотно. Потом скручивались два колпака, которые походили на огромные сапоги. Дальше мать берет эти два колпака, взбивает и отдает отцу. А он вечерами, после работы, катал валенки. Бывало, зимой придет с работы, накормит, напоит овец, поужинает, баньку подтопит и валяется в бане валенки...

Если Ивановых приятелей-писателей до глубокой старости звали Вовка, Гошка, Трошка, то сын каталя еще ходил пешком под телегу, а уже величался Петр Алексеевич. Бывало, ковыляет по деревне, одной рукой держится за материн подол, другой утирает мокрый нос, а мужики кланяются: «Будь здоров, Петр Алексеич! Ишь, мужик уже, пора и в колхоз записывать — быкам хвосты крутить».

А вечернее застолье, грозя перевалить за полночь, продолжалось; и, отыграв плясовую, Паша под тихий гитарный звон пел задушевные советские песни, ставшие русскими народными, а Петр Алексеевич, Иван и Таёга, коль медведь уши оттоптал, лишь подтягивали. Для зачина и подогрева Паша лихо пропел северную охотничью:

Я открою поддувало, чтоб оно заподдувало,  
Чтобы в печке затрещало листовничное смолье.  
Белый снег, и нету грязи, снегоход у коновязи,  
Отвечайте, я на связи! Я приехал в зимовье\*.

Разогревшись, Паша вдруг голосисто вывел сибирскую старинушку, застольникам неведомую, и те слушали, дивились:

Пойду, выйду на высокий  
Я на берег Иртыша.  
Ой ты, милая сторонка,  
До чего ж ты хороша!  
Эх, ельничек, да и березничек!  
Кедровые, пихтовые  
Сибирские леса!\*\*

Петр Алексеевич с Иваном вышли на сон грядущий подышать лесным духом и, коль уж хмельные, кратко помолились, взирая на восток, усыпанный жаркими звездами, благодаря Бога, что накануне исповедались, причастились Святых Даров в Никольской церкви, посреди села Олха.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отец наших, помилуй нас, — со вздохом перекрестился Иван перед крыльцом.

А среди высоких снежных суметов, под сияющей луной остался Паша, сколь певучий, столь и богомольный; раскрыл толстый

\* Слова М. Тарковского.

\*\* Автор — омская песенница Аграфена Оленичева (1911—1960). Песня «Ельничек-березничек».

молитвослов, где затертые корочки уже едва сдерживали взъерошенные страницы, и взмолился:

— Боже, милостив буди мне, грешному...

\*\*\*

...Явился с небес Спиридон-солнорот, и медведь в берлоге заворочался с бока на бок, а солнышко по-вешнему ласково пригрело коровье брюхо; о ту пору пожаловали на заимку заветные друзья: Петр Алексеевич Романов, протоиерей Михаил Громов, настоятель храма, и живописец Александр Тихомиров, славенный в Иркутске и Москве. Мужики решили подсобить Ивану, спустить с хребта хоть пару сухостоин на дрова.

Ранней осенью сманил Иван друзей по рыжики в Тункинскую долину, где, запальчиво уверял, грибов что грязи; друзья поверили, запасливо прихватили здоровенные корзины да решили, ежели чо, дак и багажник набить грибами. Ходили-ходили, полдня бродили по лесу и даже гнилого рыжика не узрели. Нашли три подосиновика — похожи на древних старух, коротающих век на завалинке. «То ли рыжики не родились, то ли грибки выпластали?» — гадал Иван, выходя из леса на песчаный проселок, где поджидала машина. Настороженно огляделся: думал, будут друзья с березовым дрыном гонять по тайге, но величаво сияла небесная синь, тайга светилась цветами радуги, и при эдакой осенней красе браниться — святотатство. Краса и спасла Ивана от дружеского осуждения; поклон таежной красоте — дивному творению Божию.

А позже на глазах друзей отец Михаил освятил загородный дом Петра Алексеевича Романова, рубленный из толстого бруса, с верхним и нижним жильем, изнутри обшитый полированной доской с пеньковой веревкой в пазах. Рядом с эдаким хоромным домом Иванова заимская изба выглядела банькой, но в Долине Нищих — так простолюдье дразнит коттеджные поселки, — среди каменных дворцов с глухими каменными заборами дом Петра Алексеевича походил на зимовье, воинственно чуждое дворцам.

Ну да всяк сверчок знай свой шесток. Иван на своем веку дважды или трижды мимолетом, мимоходом навецал буржуйские дворцы, дивясь чудовищной роскоши и мужикам да бабам, похожим на манекены, что красуются в витринах богатых лавок. Пластмассовые манекены — вроде нежить и нерусь — говорили на пластмассовом наречии, глядели погашенными фарами на Ивана, голодранца, нищebroда.

На освящении романовского жилища, как и на церковных службах, Иван, окутанный грехами, страшился глянуть на батюшку и, пряча глаза, под звон кадила однообразно шептал:

— Боже, милостив буди мне, грешному...

Батюшка щедро кропил святой водой золотистые венцы, а заодно и друзей, обмерших со свечами, огоньки коих нежно трепетали; при сем

батюшка, в дикие девяностые окормлявший русских воинов на Кавказе, лихо приговаривал:

— Кропило пристрелянное, бьет без промаха!

Потом — кажделение, и звон кадила, величавый в храме, звучал тревожно в тесной горнице, где наемни пустословил, суесловил болтливый телевизор. Читая молитвы, батюшка вручал кадило Тихомирову, словно алтарнику, и живописец, рослый, вальяжный, с окладистой русой бородой, в кожаных штанах и красных сафьяновых сапожках, был столь впечатляющ с кадилом, что батюшка повеличал его «монументом», а Иван в дружеском застолье, усаживаясь на диван, весело попросил:

— Статуя, подвинься, я присяду.

Ваня и Саня, дружные смолоду, дружно страдали пристрастием к огненному питию, но если Иван, отроду равнодушный к изысканным блюдам, чтил лишь горячую картошку в мундире, то Александр, гурман, еще и чревоугодием грешил.

После освящения гнезда приятели, Богу помолясь, земно поклонясь, сели за круглый стол и, выпив по чаре холодной водочки, закусив копченым омульком, взялись за жареного сига. Иван по вдохновению разглагольствовал о русских избяных обычаях, о чудной и чюдной романовской печи, что не жрала столь дров, как Иванова, а избу грела усердно. И вдруг Иван осекся, споткнулся на полуслове, узрев, что Тихомиров, дружище, опустошив свою чашку, выуживает рыбу из Ивановой. А в разгар застолья художник, откинувшись на спинку стула, вдруг задремал, огласив горницу богатырским храпом; и батюшка пихнул приятеля локтем:

— Саня, не храпи...

Подобное случилось однажды и в больнице, куда упекли Петра Алексеевича; не успел тот насладиться уколами, как нагрянули друзья: отец Михаил Громов, Иван Краснобаев и Александр Тихомиров. На лестничном пролете между этажами сели на лавочку и поджидали хворого, а когда тот спустился в пролет, Александру пришлось встать, чтобы хворый присел на лавочку, коя больше трех стройных не вмещала. На широченном низком подоконнике раскинули скатерть-самобранку, где среди изысканных закусок красовалась и четвертинка (в народе — четушка) армянского коньяка в плоской фляжке. А за окном золотисто сияли октябрьские березы, рдели гроздья рябины среди багровой листвы. Любуясь, друзья, что греха таить, выпили, закусили и повели степенную беседу, блуждая в философских дебрях; и вдруг послышался храп, и батюшка привычно пихнул художника:

— Саня, не храпи...

А Иван восхищенно подивился:

— Знаю, лошади стоя спят, но чтобы художники... А чем ты, Саня, ночью занимался?

— Вот ты, Ваня, всякую чепуху молотишь да еще, поди, воображаешь, а я всю ночь работал.

— Ну, прости, брат, коли обидел...

О ту пору Иван с отцом Михаилом издавали православный альманах «Иркутский вестник»; батюшка духовно окормлял, а Иван составлял альманах и однажды надумал украсить очередную книжку живописью Тихомирова, а коль тот, бродячий художник, покинув Сибирь, обитал в Белокаменной, то Иван и позвонил в столицу:

— Саня, здорово! Как поживаешь, дружище?

Ответ Иван не разобрал и продолжил:

— Саня, ты должен месяц угощать меня в кабаке...

Из маловнятного бормотания Иван уразумел лишь угрозу: с вина стоишь, как со стыда, а потом вопрос:

— И с какого бока-припека я должен поить тебя, Ваня?

— А с такого бока-припека, что в очередной номер альманаха ставим репродукции твоих картин. И мой очерк о твоей живописи.

Приятель вновь забормотал, словно глухарь на токовище, и смеха ради Иван спросил:

— Саня, ты когда к логопеду пойдешь? Чо говоришь, ничо не пойму, у тя же слова в носу застревают!

Художник заговорил внятнее — очевидно, прямо в телефон — и сообщил, что готовит живописную выставку в Москве.

— Ого, здорово! Поздравляю, дружище! А я чуть раньше в столицу прилечу и с неделю погощу. И, бог даст, подбегу на выставку. Но ежели на открытие опоздаю, то хотя бы на банкет...

— Какой банкет?! Чудом картины оформил...

Тихомиров опять ворчливо бубнил; из ворчания Иван с трудом смекнул, что художник на мели; хотя тот вечно сидел на мели, путешествуя по российскому белу свету, живописуя скалы Байкала, волны Охотского моря, камчатских рыбаков и оленеводов Чукотки.

— Ладно, обойдемся. Я же говорил, что в альманахе с репродукциями поставим и мой очерк о твоей живописи. Думаю над заголовком... Решил такой заголовок поставить: «Гений Александр Тихомиров».

В трубке задумчивое сопение художника, потом вопрошающий голос:

— А может, нескромно? Или сойдет?.. Ну, короче, ближе к ночи, сам решаю, я тебе доверяю.

— Ладно, тогда оставим заголовок: «Гений Александр Тихомиров».

После разговора Иван, помяная заголовок, хохотал до слез: вот ведь хохмы ради ввернул «гения», а Саня согласился. Хотя, может, живописец и заслужил эдакое величание, о чем Иван Краснобаев и поведал в очерке:

«Александр Тихомиров — чадо исподвольного талантливого, но растерянного поколения, а в молодые лета — кумир творческой богемы; но, ведомый умыслом иль промыслом, распираемый живописной силой, потаенно и азартно трудолюбивый, неколебимо верящий в свою художническую звезду, не утопил талант в богемных шабашах, не сгинул в пучине модернизма, но, пройдя огни, воды и медные трубы, возродился к российскому имперскому искусству. А яростное блуждание в западном модерне, как



ни странно, лишь обогатило и без того необозримо щедрую, порой и вселенски холодноватую, неотмирную, но и яростно земную тихомировскую живопись. Живопись Александра Тихомирова в иных произведениях — имперская евразийская симфония, где слились мелодии сибирских народов, в других полотнах — музыка нечеловеческая, музыка вселенская.

Намедни увидел в храме иконописный триптих живописца “Иркутские святители”, а в зале приходской воскресной школы — и живописные произведения из серии о гражданской войне; и не мне судить, сколь иконно духовны парсуны святителей иркутских, сколь верны характером атаман Семенов и барон Унгерн, но ошеломила живописная мощь картин...»

\*\*\*

Коль сочинитель сего повествования поведал о легендарном сыщике Петре Алексеевиче и славном живописце Тихомирове, то приспел час молвить словечушко и про достопочтенного отца Михаила Громова, чьи бесчисленные деяния во славу Божию, во благо православных христиан посильны лишь перу матерого романиста, а мне до романистов — что до небес. У сего батюшки, подобно прочим героям повествования, есть прототип, и сочинитель не озвучил земное имя пресвитера\*, дабы не уничтожить высокий образ Христова воителя.

Иван Краснобаев и отец Михаил Громов — земляки, уроженцы забайкальских русско-бурятских селений; а сдружил их Харлампиевский храм, что благодаря батюшке и тогдашнему губернатору возрождался из мерзости запустения. В черновых заметках для грядущей повести Иван поминал юные лета, когда, окончив сельскую школу, дерзнул поступать на исторический факультет Иркутского университета: «Поселили меня в Харлампиевском храме, который безбожники обратили в студенческую общагу, сбив кресты, своротив купола, из высоких икон сколотив двери; здесь и началась моя иркутская судьба; здесь — слава Богу — ожил из руин двухвековой морской храм; здесь, дай Боже, после исповеди, соборования, причастия Святых Даров отпоет меня батюшка; здесь помолятся за мою блудную душу добрые прихожане, братья и сестры во Христе...»

Иван, сдавший три экзамена на отлично, с треском завалил сочинение, ибо в слове «еще» мог изловчиться и совершить четыре ошибки; после сего кануло полвека, суетных, хмельных и грешных, и уставший, опустошенный, Иван вновь очутился в морском храме, что — поклон губернатору и отцу Михаилу — величавым ковчегом выплыл из руин и ныне белоснежно светится в небесной синеве. Здесь, будучи даже не добрым прихожанином, а захудалым захожанином, Иван и сдружился с отцом Михаилом.

\* Пресвитер — древнейшее каноническое, основанное на правилах апостолов, вселенских и поместных соборов, название второй степени священства в христианстве.

За спиной батюшки подобная ратной службе в забайкальских приходах, душеспасительное окормление русских воинов в боях на Кавказе, возрождение храмов, а для путешествующих по железной дороге — возведение Никольской церкви в старинном казачьем Верхнеудинске, ныне Улан-Удэ. А уж Харлампиевский храм власть земная и власть небесная удумала сносить, ибо старчески одряхлел и сквозь трещину в стене тогдашний владыка вольно входил в нижний придел. Словом, решили сокрушить: мол, дешевле обойдется новодельный, но некий славный пресвитер убедил владыку: памятник старинного русского зодчества посылно спасти — и, благословясь, начал уборку храма, обращенного в свалку. А вскоре в согласии с повелением губернатора владыка благословил отца Михаила, и долгими, тяжкими трудами, заботами, хлопотами древний храм обрел белоснежное величие. И ныне отец Михаил, настоятель сего дивного храма, с амвона творит боговдохновенные проповеди, похожие на покаянные исповеди; и ныне в певучем мерцании горящих свеч из ярого воска, в свете лампад ожили образа Царя Небесного, Царицы Небесной, преподобных и богоносных отец наших и всех святых.

Вот батюшка после обедни шествует по храму и ласково, с христородной любовью благословляет мирян; а Иван, глядя на отца Михаила, слышит голос Вседержителя: «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи...» У батюшки чресла препоясаны широким кожаным ремнем, яко у Предтечи, а походка борцовская, раскачистая, руки разведены, словно готовы для схватки, глаза горящи, — воистину, воин Христов, у коего небесный покровитель сам архангел Михаил, атаман небесного воинства, в схватке оборовший сатану. И походка у батюшки медвежая не случайна — по молодости в классической русской борьбе изрядно соперников уложил на лопатки и, по слухам, вышел в мастера спорта, а потом освоил и русский рукопашный бой. Батюшка — смиренномудрый, но, ежели прилюдно охаешь Бога, упредит в сердцах: «Дам по рогам, олень!» — и ежели поганую пасть не закроешь, то и заушит, словно Чудотворец Николай еретика Ария на Вселенском соборе в Никее.

Иван вспомнил: на Крещение Господне после праздничной обедни художник Тихомиров, подполковник Романов, батюшка и он прибежали на крещенскую иордань, что православные мужи вырубili в заливе Иркутского моря. Надо трижды окунуться, смыть святочные грехи, но Иван оробел — мороз за тридцать; а батюшка поплавал в иордани, поплескался, яко селезнь, и вдохновенно кличет Ивана: мол, ты же, Иван Петрович, в блудных грехах как в шелках — ныряй, все грехи смоешь, ибо вода святая, а если очучуришься в иордани — душа прямым ходом в рай... «Спасибо, батюшка, за щедрость», — улыбнулся Иван и, положась на милостивую волю Божию, разгребая ледяную шугу, погрузился в крещенское море.

Но вернемся в день Спиридона-солнворота, когда нагрянули на Иванову заимку Петр Алексеевич Романов, протоиерей Михаил Громов, живописец Александр Тихомиров. Коль мужики сулились-грозились спустить с хребта пару-тройку сухостоин на дрова, то Иван выдал «батракам» хваткие, мягкие верхонки, бриткий топор, моторную пилу, пару сапей, и друзья тронулись в заснеженный лес.

У вершины хребта, фартовые, надыбали засыхающую лиственницу, кроной гаснущую в небе, и батюшка лихо, словно полжизни пахал на лесоповале, завалил лесину, да прицельно, дабы не зависла на соседней сосне.

В сучкорубах ходил Иван, ибо Петра Алексеевича послали кашеварить, а Тихомиров, живописец, снимал лесоповал на кинокамеру. Вот сучки срублены, лесина раскряжевана; Иван с батюшкой стали разворачивать толстый кряж комлем вниз, чтобы погрузить на сани и спустить с горы, но кряж даже не шелохнулся, поскольку надо толкать враз, а у дровосеков кто в лес, кто по дрова. Но с насадой все же закатали кряж на сани, и Тихомиров запечатлел кинокамерой дивную картину: батюшка в черном подряснике и серой куртке из шинельного сукна, в черной скуфье на голове, впрягшись в сани, волочит комлистый кряж. Иван похвалил батюшку:

— Про эдаких, как вы, батюшка, мама моя, Царство Небесное, говаривала: добрый — под комель встает, не под вершину, когда мужики лесину на плечах тащат...

Прытко забегая вперед, поведаем, чем нынешний дровосек обернулся для Ивана. Помнится, Рождество Христово в ночном храме, потом — святочная трапеза, а перед рассветом Иван вызвал извозчика и, ожидая, гулял по церковной ограде, выискивая в сияющем звездном рое Вифлеемскую звезду, что привела волхвов к пещере, где родился Христос. И сладостно зрелось, певуче слышалось: в полночь по всей Руси Великой величаво и радостно звонят колокола, и плещется рождественский звон над заснеженными лесами и полями, над полуночными селами и городами, и крещеные единым гласом ликующе воспевают божественную стихирю преподобного Романа Сладкопевца: «Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог».

Иван замер пред малиново подсвеченным вертепом, вырубленным из снега, озирая пещеру для скота, где в яслях, набитых сеном, возлежал Отроча младо и умиленно глядели на Чадо Матерь Божия, святой Иосиф-обручник и даже овечки с бурой коровушкой. Подумалось: «Ишь, и в постоялом дворе не нашлось угла святому семейству, пришлось в пещере для овец и коров ночь коротать. Зябко, поди, семейству, а ежели бы дрова, да Иосифу развести бы малый костришко, всё бы теплее... Хотя какие дрова в Вифлееме Иудейском...»

Вскоре отозвался извозчик, и когда Иван шел по церковной ограде, увидел матушку, богоданную отца Михаила, что, подобно батюшке, уродилась в забайкальской староверческой семье и жила в суровом благочестии. Матушка, стоящая на крыльце воскресной школы, обратилась к Ивану, даже и не прихожанину храма, а захожанину:

— Иван Петрович, если с батюшкой что случится, вы будете моих детей содержать. Как вы могли запрячь в сани батюшку, у которого был инфаркт?!

Иван смекнул: забавную картину — батюшка с надсадой волочит толстый кряж, — отснятую Тихомировым на кинокамеру, увидело многочадливое семейство отца Михаила: матушка и пятеро ребятшек, из коих о ту пору лишь два старших брата бегали в школу.

— Матушка, простите, я же не знал, — испуганно оправдывался захожанин.

— Толстомясого гения не могли запрячь?!

Иван доспел: о Тихомирове речь, и хотел ответить матушке: где видно и слыхано, чтобы гениальных живописцев запрягали в сани?! Но воздержался от эдакого высказывания и вновь извинился.

После сего Иван, помнится, угощался в церковной трапезной и пригласил батюшку на заимку: мол, в баньке попаримся, потолкуем в застоле; а матушка, что подавала печеную рыбу и слышала, тут же, не глядя на Ивана, спросила батюшку:

— Что, у Краснобаева дрова кончились?

С той поры Иван, бывало, говорит с батюшкой об альманахе, что совместно доводили до ума, и если рядом окажется матушка, тут же оповестит отца Михаила:

— Батюшко, а у меня дрова кончаются...

Матушка властно поведет строгим оком, сурово подождет губы, но словом не удостоит.

Но то случилось потом, ныне же — дровосек; и батюшка спустил с хребта последний кряж. А уж солнце склонилось к закату, словно отяжелевшая глава к подушке, и батюшка велел: «Баста, пора в баньку!» Иван жарко, не жалея листвяжьих и березовых дров, протопил баню, а возле крыльца пихлом и лопатой нагреб снежную сопку; и если Петр Алексеевич с Иваном грелись на полке, легонько обхлестываясь березовым и пихтовым веничком, да в снег сломя голову не кидались, то батюшка и Тихомиров парились до упада и, багровые, с казачьим гиканьем летели из предбанника в снежный сугроб, где долго купались, радостно вопя. А когда, напарившись, в предбаннике пили чай с чабрецом и шаманской травой саган-дали, Тихомиров вдруг отлучился из бани; и, коль долго не возвращался, Иван заперевживал — мало ли что, на дворе под сорок — и, накинув шубу, сунув ноги в катанки, пошел искать живописца. Узрел диво дивное: постаивает Тихомиров среди снежных сугробов за баней, дебелый и белый в лунном свете, да, похохатывая, почесывая обильное

брюхо, треплется по телефону. Похоже, с милой сударушкой, коль мороз не в мороз.

По случаю филипповского поста Петр Алексеевич Романов сварил чугунный казан омулевой ухи. Помолились с чувством, толком, а то Иван, забывчивый, рассеянный, суетливый, ежели забудет прочитать Иисусову молитву перед ествой, то читает после и благословляет еду и питье, крестя брюхо. А с батюшкой не забудешь...

В предчувствии лютых морозов, на ночь глядя Иван подтопил печь; и в сухом избяном тепле поначалу ладом текла застольная беседа, а затем под завывание ветра за оконным куржаком батюшка пел «Черного ворона», да не ходового, а вроде былинной старины.

...Черный ворон, друг ты мой залетный,  
Где летал так далеко?  
Где летал так далеко?  
Ты принес мне, а ты, черный ворон,  
Руку белую с кольцом,  
Руку белую с кольцом...  
Вышла, вышла а я на крылечко,  
Пошатнулася слегка,  
Пошатнулася слегка.  
По колечку друга я узнала,  
Чья у ворона рука.  
Эт рука, рука мойво милова,  
Знать, убит он на войне,  
Знать, убит он на войне...  
Он убитый ляжить, незарытый  
В чужедальной стороне...\*

Глаза застольников влажно мерцали в тихом свете настольной лампы, и даже Петр Алексеевич прослезился, хотя, будучи пожизненным сыщиком, нагяделся на смерти и, бывало, уже смотрел без содрогания, без со-сущего холода в паху, без волнения в душе.

А Иван слушал, чуял: мороз по сердцу пошел; и приблазнился ему байкальский старожил, певший древние песни, да столь могуче, что чудилось: сосны звенят, на священном Байкале волны вздымаются, прибрежные скалы трещат. И голосил сей певень забайкальского казачьего «Ворона»: «Ты, вещун, да птица-ворон, да чо кружишьси надо мной? Полетай, вещун да ворон, ты к себе лучше домой...» Певень потом сокрушался в беседе с Иваном: «Счас редко кто старинны мотивы поет, всё больше дрыгалки-прыгалки, что в радиве, что в телевизоре... Да ишо и похабщина сплошь, а ранешни старики баяли: “Оборони меня Бог от грозы и молнии, от плохого глаза и уроченья, от зверя дикого и языка поганого”».

\* Былинная песня донских казаков.

Иван, глядя на батюшку, поминал давнишнее путешествие по Забайкалью, воплощенное в его беглых путевых записках: «...В бурятском стольном граде гостили у коммерсанта в дачных хоромах, и, когда хозяин отлучился, его старенький батя, бывший советский начальник, собрав нас за круглым столом, стал знакомиться.

— Писатель Иван Краснобаев...

Бывший досадливо глянул на меня, мелкого, невзрачного мужика, как на круглого дурака, но я привык; мне родной зять говорил: “Ты, Ваня, не писатель, ты, Ваня, нарезчик — дуру нарезаешь”.

— Подполковник полиции Петр Алексеевич Романов.

— Да... — Бывший даже приподнялся и с почтительным поклоном пожал руку знатному сыщику. — Ваша работа нынче особо нужна и важна — распоясался народ!

— Художник Александр Тихомиров.

— О, доброе дело... Нам бы вот, товарищ художник, беседку покрасить да покрасивше бы.

— Отец Михаил Громов, священник.

— Да-а, видно, нету никакой специальности, — вздохнул Бывший.

Из степной столицы укатили за сотни верст в Тамир — древлема-терое русское село, чудом выплывшее из восемнадцатого века. Улицы — сплошь дородные бревенчатые избы с рублеными фронтонами — явный признак старинного избяного зодчества. И может, потому, что деревня вытянулась вдоль широкой, насквозь продуваемой долины, усадеб едва коснулась гниль. Да и, слава богу, хозяева обихаживали дедовские избы, отчего те и не ветшали, не вращали в землю-матушку; и, в отличие от других сёл и деревень, немного высмотрел я в Тамире брошенных усадеб, как мало узрел и нынешнего убогого новостроя; из поколения в поколение жили и живут многие тамирцы в могучих хороминах, рубленных дедами и прадедами. И потешила мою деревенскую душу милая картина: над бревенчатыми заборами виделись высокие поленницы дров, хотя и вылинявших на долгом солнце.

Мы гостили у здешнего церковного старосты, в усадьбе которого поленницы переросли бревенчатый забор, и дровяник битком, а рядом корявые сосновые чурки с манящим колуном. Мы, гости, по очереди долбили суковатый чурбан, но пришел староста, усмехнулся, перевернул чурку и, поплевав на мозолистые ладони, взял колун — и вскоре чурка развалилась надвое, а потом и на поленья.

А вечером в разгар братской трапезы я, многогрешный рабчишка Божий, заживо сгорающий в похотях, забыв о смирении, послушании, почитании священнического сана, вступил с батюшкой в перебранку, защищая крестьян, кои, увы, пока еще бредут мимо сельских церквей: иные еще не одолели материализм, атеизм, что вбивали в их разум с отрочества, иные от лени души, иные от беспробудного пьянства.

Справедливо укорял батюшка хмельных, лодырей и безбожных селян, а я оправдывал: бывший сельский житель, я жалел несчастных крестьян, которых испокон русского веку ломали через колено — крепостное право, коллективизация и раскулачивание крепких хозяев, а когда крестьяне привыкли к совхозам и колхозам, обрета в них былую общину, когда расцвело село, власть жестоко порушила коллективные хозяйства, кинув крестьян на произвол безжалостной судьбы, и уйма крестьянских малосемейных дворов, отвыкших выживать единолично, погрузились в беспросветную нищету и пьяную тоску. Одыбают ли село, вернется ли в храмы, Бог весть... Блаженны нищие духом, а посему живет надежда: сельские души, если и пустые, то чистые, не исписанные демонскими письменами мудрости мира сего, как у грамотеев, когда уже нет вольного поля для Божиих глаголов...»

А трапеза на лесной заимке устало завершалась; изрядно говорено и не о суетных, утробных пустяках, но аж сразу о даровании православным благочестия, смирения и спасения, для чего и помянули стих дивного словотворца Алексея Хомякова:

Подвиг есть и в сраженье,  
Подвиг есть и в борьбе;  
Высший подвиг в терпенье,  
Любви и мольбе\*.

---

\* А. Хомяков «Подвиг».

